

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложениемъ портрета Лѣскова, гравированного на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

INSTYTUT

WADAN LITERACKICH PAN

BIBLIOTEKA

00-630 Warszawa, ul. Nowy Świat 77

Tel. 26-68-63

ТОМЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ.

Приложение къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Издание А. Ф. МАРКСА.

1903.

<http://rcin.org.pl>



Артистическое заведение А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

24.12.9/25.22.

НА НОЖАХЪ

РОМАНЪ ВЪ ШЕСТИ ЧАСТЬЯХЪ.

Часть третья.

КРОВЬ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Краси ютъ стѣны.

Богато сервированный ужинъ былъ накрытъ въ небольшой квадратной залѣ, оклеенной красными обоями и драпированной краснымъ штофомъ, между которыми висѣли старые портреты.

Глафира Васильевна стояла здѣсь у небольшого стола, и когда вошли Водопьяновъ и Подозеровъ, она держала въ рукахъ рюмку вина.

— Господа! у меня прошу пить и ъесть, потому что, какъ это, Свѣтозаръ Владеповичъ, пѣль вашъ Испанскій Дворянинъ: «Вино на радость намъ дано». Андрей Иванычъ и вы, Водопьяновъ, выпейте предъ ужиномъ, — вы будете интереснѣе.

— Я не могу, я уже все свое выпилъ, — отвѣчала Водопьяновъ.

— Когда же это вы выпили, что этого никто не видалъ?

— Семь лѣтъ тому назадъ.

— Все лжетъ сей дивный человѣкъ, — отвѣчала Бодротина и, окинувъ внимательнымъ взглядомъ вошедшаго въ это время Горданова, продолжала: — я увѣрена, Водопьяновъ, что это вамъ вашъ Распайль запрещаетъ. Ему Распайль запрещаетъ все, кромѣ камфоры, — онъ ъесть камфару, курить камфару, ароматизируется камфарой.

— Прекрасный, чистый запахъ,—молвилъ Водопьяновъ.

— Поздравляю васъ съ нимъ и сажусь отъ васъ по-дальше. А гдѣ же Лариса Платоновна?

— Они изволили велѣть сказать, что нездоровы и къ столу не будутъ,—отвѣтилъ дворецкій.

— Все это виновать этотъ Свѣтозаръ! онъ всѣхъ напу-
галь своимъ Испанскимъ Дворяниномъ. Подозеровъ, вы слы-
шали его разсказъ?

— Нѣтъ, не слыхалъ.

— Ну, да; вы къ намъ попали па финаль, а впрочемъ,
вѣдь разсказать, миѣ кажется, иничѣмъ не конченъ, или онъ,
какъ все, какъ самъ Водопьяновъ, вѣченъ и безконеченъ.
Лета выбила табакерку и засыпала намъ глаза, а дальше
что же было, я желаю знать это, Свѣтозарь Владеновичъ?

— Она спрыгнула съ окна.

— Съ третьаго этажа?

— Да.

— Но кто же ей кричалъ: «я здѣсь»?

— Испанскій Дворянинъ.

— Кто жъ это знаетъ?

— Она.

— Она разнѣе осталась жива?

— Нѣтъ, иль то-есть...

— То-есть она жива, но умерла. Это прекрасно. Но
кто же видѣлъ вашаго Испанскаго Дворянина?

— Всѣ видѣли: онъ вѣлся въ туманѣ надъ убитой Ле-
той, и было сгѣстѣвіе.

— И что же оказалось?

— Ничего.

— Je vous fais mon compliment. Вы, Свѣтозарь Владе-
новичъ, неподражаемы! Вообразите себѣ,—добавила она, обра-
тилась къ Подозерову: — цѣлый битый часъ разсказывалъ
какую-то исторію или бредъ, и только для того, чтобы въ
концѣ концовъ сказать «ничего». Очаровательный Свѣтозарь
Владеновичъ, я пью за ваше здоровье и за вѣчную
жизнь вашего Дворянина. Но, Боже! что такое значитъ?
чего вы вдругъ такъ побѣдили, Андрей Ивановичъ?

— Я побѣдилъ?—переспросилъ Подозеровъ.—Не знаю,
быть-можеть, я еще немножко слабъ послѣ болѣзни... Я,
впрочемъ, все слышалъ, что говорили... какая-то женщина
упадала...

— Бросилась съ третьаго этажа!

— Да, это мнѣ напоминаетъ немножко... кончину...

— Другой прекрасной женщины, конечно?

— Да, именно прекрасной, но... которую я мало знала, ко всегдашнему моему прискорбію,—такъ умерла моя мать, когда мнѣ было одинъ годъ отъ роду.

Бодротина выразила большое сожалѣніе, что она, не зная семейной тайны гостя, упомянула о случайнѣ, который навелъ его на исчезненіе воспоминанія.

— Но, впрочемъ, — продолжала она: — я посыпшу успокоить васъ хоть тѣмъ способомъ, къ которому прибегъ одинъ извѣстный испанскій же проповѣдникъ, когда слишкомъ растрогалъ своихъ слушателей. Онъ сказалъ имъ: «не плачьте, милые, вѣдь это было давно, а можетъ-быть, это было и не такъ, а можетъ-быть... даже, что этого и совсѣмъ не было». Вспомните одно, что вѣдь эту исторію разсказываль намъ Свѣтозаръ Владеновичъ, а его разсказы, при несомнѣнной правдивости ихъ автора, сплошь и рядомъ бываютъ подбиты... вѣтромъ. Притомъ здѣсь есть имена, которыхъ вамъ, я думаю, даже и незнакомы, — и Бодротина назвала въ точности всѣхъ лицъ Водопьяновскаго разсказа и въ короткихъ словахъ привела все повѣствованіе «Сумасшедшаго Бедуина».

— Ничего, кажется, не пропустила? — обратилась она затѣмъ къ Водопьянову и, получивъ отъ него утвердительный отвѣтъ, добавила: — вотъ вы прѣѣжжайте ко мнѣ почаще; я у васъ буду учиться духовъ вызывать, а вы у меня поучитесь коротко разсказывать. Впрочемъ, а propos, вѣдь сказаніе повѣствуетъ, что эта безплотная и непостижимая Лета умерла бездѣтною?

— Я этого не говорилъ, — отвѣчалъ Водопьяновъ.

— Какъ же? Развѣ у нея были дѣти, или хоть по крайней мѣрѣ одно дитя?

— Можетъ-быть, можетъ-быть и были.

— Такъ что же вы этого не говорите?

— А!.. да!.. Понять: Труссъ говоритъ, что эпилейсія — болѣзнь весьма распространенная, что нѣть почти ни одного человѣка, который бы не былъ подверженъ нѣкоторымъ ея принадкамъ, въ извѣстной степени, разумѣется, въ извѣстной степени... Сюда относится внезапная забывчивость и

прочее, и прочее. Разумеется, это падучая болезнь настолько же, насколько кошка родня льву, но, однако...

— Но, однако, Святозаръ Владеновичъ, довольно, мы попали, что вы хотите сказать: на васть нашло безпамятство.

— Именно: у Летушки былъ сынъ.

— Отъ ея брака съ красавцемъ Потальевымъ?

— Конечно!

— Но что было у господъ Потальевыхъ, то пусть тамъ и останется, и это ни до кого изъ здѣсь присутствующихъ не касается... Андрей Ивановичъ, чего же вы опять все блѣдишьтесь?

— Я попросилъ бы позволенія встать: я слабъ еще; но, впрочемъ... виноватъ, я оправлюсь. Позвольте мнѣ рюмку вина!—обратился онъ къ Водопьянову.

— Хересу?

— Да.

— Да; вы его пейте,—это ваше вино!

— А чтобы перейти отъ чудеснаго къ тому, что веселѣй и болѣе способно всѣхъ занять, разсудимъ вашу Лету,—молвила Водопьянова Бодростина, и загѣмъ, отиосясь ко всей компаніи, сказала:—господа! какое ваше мнѣніе: по-моему, этотъ Испанскій Дворянинъ—буффонъ и забулдыга старого университетскаго закала, когда думали, что хороший человѣкъ непремѣнно долженъ быть и хороший пьяница; а его Лета просто дура, и притомъ еще неестественная дура. Ваше мнѣніе, Подозоровъ, первое желаю знать?

— Я промолчу.

— И это вамъ разрѣшаю. Я очень рада, что вино васть, кажется, согрѣло: вы закраснѣлись.

Подозоровъ даже былъ теперь совсѣмъ красень, но въ этой комнатѣ было все красновато, и потому его краснота сильно не выдѣлялась.

— По-моему,—продолжала Бодростина:—самое типичное, вѣрное и самое понятное мнѣ лицо во всемъ этомъ раз сказъ—старикъ Потальевъ. Въ немъ нѣть ничего натянуто-выспрѣннаго и болѣзненно-мистического, это человѣкъ съ плотью и кровью, со страстью и... некрасивъ немножко, такъ что даже бабы его пугались. Но эта Летушка все-таки глупа; многія бы позавидовали счастью, хотя не на долго, но...

— Что жь вамъ такъ нравится? Неужто безобразіе? — спросилъ, чтобы поддержать разговоръ, Висленевъ.

— Ахъ, Боже мой, а что мужчинамъ нравится въ какой-нибудь Корѣ, которой я не имѣла чести видѣть, но о которой имѣю понятіе по Тургеневскому «Дыму». Онъ интереснѣе: въ немъ есть и безобразіе, и характеръ.

Гости промолчали.

— Интересно врачу заставить говорить нѣмого отъ рожденія, еще интереснѣе женщинѣ слышать языкъ страсти въ устахъ, которая весь вѣкъ боялись ихъ произносить.

Глафири опять никто не отвѣтилъ, и она, хлебнувъ вина продолжала сама:

— Признаюсь, я бы хотѣла видѣть рыдающаго отъ страсти... отщельника, монаха, настоящаго моиаха... И какъ бы онъ послѣ, бѣдняжка, ревновалъ... Эй, человѣкъ! подайте мнѣ еще немножко рыбы. Однажды я смущила схимника: былъ въ Киевѣ такой старикъ, лѣтъ неизвѣстныхъ, мохомъ весь обросъ и на груди носилъ вериги: я пошла къ нему на исповѣдь и насквозь ему такихъ грѣховъ, что онъ...

— Влюбился въ вѣсть?

— Нѣтъ; только просили: «умилосердися, уйди!» Благодарю, подайте вонъ еще Висленеву, онъ, вижу, хочетъ кушать,—докончила она обращеніемъ къ старому, сѣдому лакею, державшему предъ ней массивное блюдо съ приготовленною подъ маيونезомъ рыбой.

— Подозоровъ! Вѣдь мы съ вами, кажется, пили когда-то на брудершафтъ?

— Никогда.

— Такъ я пью теперь.

И съ этимъ она чокнулась бокаль съ Подозоровымъ и, положивъ руку на его руку, заставила и его выпить все вино до дна.

Висленева скрючило.

— Да, новый мой камрадъ,—продолжала Бодростина:—пожелаемъ счастія честнымъ мужчинамъ и умнымъ женщінамъ. Да соединятся эти рѣдкости жизни и да не мѣшается съ тѣмъ, что имъ не къ масти. Умъ даетъ жизнь всему, и поцѣлую, и объятымъ... дурочка даже не поцѣлуетъ такъ, какъ умная.

— Глафира Васильевна!—перебилъ ее Подозоровъ.—То дѣло, о которомъ я сказалъ... теперь мнѣ некогда уже о

чемъ лично говорить. Я боленъ и долженъ раньше лечь въ постель... но вотъ въ чёмъ это заключается.—Онъ вынулъ изъ кармана конвертъ съ почтовымъ штемпелемъ и съ разорванными печатями и сказалъ:—Я просилъ бы васъ выйти на минуту и прочесть это письмо.

— Я это для тебя сдѣлаю, — отвѣчала, вставая, Бодростина.— Но что это такое?— добавила она, остановясь въ дверяхъ:— я вижу, что фонарикъ у меня въ кабинетѣ гаснетъ, а я послѣ разсказовъ Водопьянова боюсь одна ходить въ полутьмѣ. Висленевъ! возьмите лампу и посвѣтите мнѣ.

Исаѳъ Платоновичъ вскочилъ и побѣжалъ за нею съ лампой.

Гордановъ воспользовался временемъ, когда онъ остался одинъ съ Подозеровымъ и Водопьяновымъ.

— Вы, конечно, знаете, чѣмъ должно кончиться то, что произошло два часа тому назадъ между нами? — спросилъ онъ, уставшись глазами въ вергѣвшаго свою тарелку Подозерова.

— Я знаю, чѣмъ такія вещи кончаются между честными людьми, но чѣмъ ихъ кончаются люди безчестные,—того не знаю,—отвѣчалъ Подозеровъ.

— Кого вы можете прислать ко мнѣ завтра?

— Завтра?— маффора Форова.

— Прекрасно: у меня секундантъ Висленевъ.

— Это не мое дѣло, — отвѣчалъ Подозеровъ и, вставъ, отвернулся къ первому попавшемуся въ глаза портрету.

Въ это время въ отдаленномъ кабинетѣ Бодростиной раздался звонъ разбившейся ламины и послышался раскатъ безнечійшаго смѣха Глафиры Васильевны.

Гордановъ вскочилъ и побѣжалъ на этотъ шумъ.

Подозеровъ только оборотился и изъ-глаза-въ-глазъ переглянулся съ Водопьяновымъ.

— Мѣсто значить много; очень много, много! Что въ другомъ случаѣ ничего, то здѣсь не безопасно,—проговорилъ Водопьяновъ.

— Скажите мнѣ, зачѣмъ же вы здѣсь, въ этихъ стѣнахъ, и при всѣхъ этихъ людяхъ рассказали исторію моей бѣдной матери?

— Вашей матери? Ахъ, да, да... я теперь вижу... я вижу: у васъ есть съ неї сходство и... еще больше съ нимъ.

— Валентина была моя мать, и я люблю того, кого она

любила, хотя онъ не былъ мой отецъ; но мнѣ всѣ говорили, что я даже похожъ на того, кого вы назвали студентомъ Спиридоновымъ. Благодарю, что вы, по крайней мѣрѣ, неизмѣнили имена.

Водопьяновъ съ неожиданною важностию кивнулъ ему головой и отвѣчалъ:—«да; мы это разсмотримъ;—вы будьте покойны, разсмотримъ». Такъ говорилъ долго тотъ, кого я называлъ Поталѣевымъ. Онъ умеръ... онъ приходилъ ко мнѣ разъ... такимъ чернымъ звѣремъ... Первый разъ онъ привелъ ко мнѣ въ сумерки... и плакалъ, и стональ... Я одобряю, что вы отдали его состояніе его роднымъ... большими дворянамъ... Имъ много нужно... Да вонъ видите... по стѣнамъ... сколько ихъ... Вонъ старушка, зачѣмъ у нея два носа... у нея было двѣ совѣсти...

И Водопьяновъ понесъ околосицу, въ которой все-таки опять были свои, все связзывающіе штрихи.

Между тѣмъ, что же такое произошло въ кабинетѣ Глафиры Васильевны, откуда такъ долго неѣть никого и никакихъ вѣстей?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Не краснѣющіе.

Глафира Васильевна въ сопровождѣніи Висленсва скорою походкой прошла двѣ гостиныхъ, библиотеку, наугольную и вступила въ свой кабинетъ. Здѣсь Висленевъ поставилъ лампу и, не отнимая отъ нея своей руки, сталь у стола. Бодротина стояла спиной къ нему, но, однако, такъ, что онъ не могъ ничего видѣть въ листкѣ, который она предъ собою развернула. Это было письмо изъ Петербурга, и вотъ что въ немъ было написано гадостнымъ караульнымъ почеркомъ, со множествомъ чернильныхъ пятенъ, помарокъ и недописокъ:

«Господинъ Подозоровъ! Я убѣдилась, что хотя вы держитесь принциповъ неодобрительныхъ и патріотъ, и низко-поклонничаете предъ московскими ретроградами, но въ дѣйствительности вы человѣкъ и, какъ я убѣдилась, даже честные многихъ абсолютно честныхъ, у которыхъ одно на словахъ, а другое на дѣлѣ, потому я съ вами хочу быть откровенна. Я пишу вамъ о страшной подлости, которая должна быть доведена до Бодротиной. Мерзавецъ Кинчен-

скій, который, какъ вы знаете, ужасный подлецъ, и его, падьюсь, вамъ не надо много рекомендовать, и Алинка, которая женила на себѣ эту зеленую лошиадь, господина Висленича, устроили страшную подлость: Кипенскій, познакомясь съ Бодростинымъ у какого-то жида-банкира, сдѣлать такую подлую венецъ: опѣт вовлекасть Бодростина въ компанію по водоснабженію городовъ особымъ способомъ, который есть не что иное, какъ отвратительнейшее мошенничество и подлость. Дѣломъ этимъ орудуетъ какой-то страшный мошенникъ и плутъ, обобравший уже здѣсь и въ Москвѣ не одного человѣка, что и можно доказать. Съ нимъ въ стачкѣ поплыка Казимирка, которую вы должны знать, и Бодростина ее тоже знаетъ...»

— Охъ, охъ! — сказала, пятясь назадъ и покрываясь румянцемъ восторга, Бодростина.

— Что? вѣрю какія-нибудь непріятныя извѣстія? — спросила ее участливо Висленевъ.

— Боюсь въ обморокъ упасть, — отвѣтила шутя Глафира, чувствуя, что Висленевъ робко и нерѣшительно беретъ ее за талию и поддерживаетъ. — «Держи же меня, я вырваться не смѣю!» — добавила она, смысьсь, известный стихъ изъ Донъ-Жуана.

И съ этимъ Глафира, оставаясь на рукахъ Іосафа Платоновича, дочитала:

«Эта Казимира теперь княгиня Вахтерминская. Она считается красавицей, хотя я этого не нахожу: сарматская, смазливая рожица и тѣлеса, и ничего больше, но она ловка какъ бѣсь и готова для своей прибыли на всякия подлости. Мужъ ей давалъ много денегъ, но теперь онъ банкротъ: одна француженка оббрала его какъ линку, и Казимира пріѣхала теперь назадъ въ Россію поправлять свои дѣлишки. У нея теперь есть *bien aimé*, что всѣмъ известно, — полякъ-скрипачъ, который играсть и будетъ давать концерты, потому полякамъ все дозволяютъ, но онъ совершенно бѣдный, и потому она забрала себѣ Бодростина съ первой же встрѣчи у Кипенскаго и Висленевой жены, которая Бодростиной терпѣть не можетъ. Я же, хотя тоже была противъ принциповъ Бодростиной, когда она выходила замужъ, но какъ теперь это все уже перемѣнилось, и всѣ нации, кромеъ Вансокъ, выходить за разныхъ мужей замужъ, то я болѣе противъ Глафиры Бодростиной ничего не имѣю, и вы сѣ

это скажите; но писать ей сама не хочу, потому что не знаю си адреса, и какъ она на меня зла и знаетъ мою руку, то можетъ не распечатать, а вы какъ служите, то я пишу вамъ по роду вашей службы. Предупредите Глафиру, что си грозить большая опасность, что мужъ ея очень легко можетъ потерять все, и она будетъ ни съ чѣмъ, — я это знаю навѣрное, потому что немножко понимаю польски и подслушала, какъ Казимира сказала это своему bien aimé, что она этого господина Бодростина разорить, и они это исполнить, потому что этотъ bien aimé самый главный зачинщикъ въ этомъ дѣлѣ водоснабженія, но всѣ они, Кишенскій и Алика, и Казимира, всѣхъ нась отъ себя отсунули и дѣлаютъ всѣ страшныя подлости одинъ сами, все только жиды да поляки, которымъ въ Россіи лафа. Больше ничего не остается, какъ всю эту мерзость разоблачить и пропечатать, надѣ чѣмъ и я и еще многіе думаемъ скоро работать и издать въ видѣ большого романа или драмы, но только нужны деньги и осторожность, потому что Вансокъ сильно вооружается, чтобы не выдавать никого. Остается готова къ услугамъ извѣстная вамъ Ципри-Кипри».

«P. S. Можете спросить Данку, которая знаетъ, что я пишу вамъ это письмо: она очень честная госпожа и все знаетъ, — вы ее помните: бѣлая и очень красивая барыня въ русскомъ впусѣ, потому что планъ Кишенского прежде былъ разсчитанъ на нее, но Казимира все это перестроила самыми постыдными польскими интригами. Данка ничего не скроетъ и все скажетъ».

«Еще P. S. Сейчасъ ко миѣ пришла Вансокъ и сообщила свѣжую новость. Бодростинъ ничего не знаетъ, что подъ его руку пишутъ уже большие векселя по его довѣренности. Пускай жена его йдетъ сейчасъ сюда накрыть эту страшную подлость, а если что нужно развѣдать и сообщить, то я могу, но на это нужны, разумѣется, средства, по крайней мѣре рублей пятьдесятъ или семьдесятъ пять, и чтобы этого не знала Вансокъ».

Этимъ и оканчивалось знаменательное письмо гражданки Ципри-Кипри.

Бодростина, свернувъ листокъ и сунувъ его въ карманъ, толкнулась рукой объ руку Висленева и вспомнила, что она еще до сихъ поръ нѣкоторымъ образомъ находится въ его объятіяхъ.

Занятая тѣмъ, что сейчастъ прочитала, она безцѣльно взглянула полуоборотомъ лица на Вислениева и остановилась; взглядъ ея вдругъ сверкнулъ и заскрился.

«Это прекрасно!—мелькнуло въ ея головѣ.—Какая блестящая мысль! Какое великое счастіе! О, никто, никто на свѣтѣ, ни одинъ мудрецъ и ни одинъ доброжелатель не могъ бы мнѣ оказать такой исощѣнной услуги, какую оказываютъ Кинченскій и княгиня Казимпра!.. Теперь я снова я,—я спасена и госпожа положенія... Да!»

— Да!—произнесла она вслухъ, продолжая въ умѣ свой планъ и подъ вліяніемъ думъ пристально глядя въ глаза Вислениеву, который смыкался и залепеталъ что-то въ родѣ упрека.

— Ну, ну, да, да!—повторяла съ разстановками, держась за голову, Бодростина и, съ этимъ бросясь на отоманъ, разразилась неудержимымъ истерическимъ хохотомъ.

Увлеченный сю въ этомъ движеніи, Вислениевъ задѣлъ рукой за лампу, и въ комнатѣ настала тьма, а черенки стекла зазвенѣли по полу. На эту сцену явился Гордановъ: онъ засталъ Бодростицу, весело смыкающуюся, на диванѣ и Вислениева, собирающаго по полу черепки ламины.

— Что такое здѣсь у васъ случилось?

— Это все онъ, все онъ!—отвѣчала сквозь смѣхъ Бодростина, показывая на Вислениева.

— Я!.. я! При чёмъ здѣсь я?—вскочилъ Іосафъ Платоновичъ.

— Вы?.. вы ши при чёмъ! Идите въ мою уборную и принесите оттуда лампу!

Іосафъ Платоновичъ побѣжалъ исполнить приказаніе.

— Что это такое было у васъ съ Подозоровымъ?—спросила у Горданова Глафира, ставъ предъ нимъ, какъ только вышелъ за двери Вислениевъ.

— Ровно ничего.

— Неправда, я кой-что слышала: у васъ будетъ дуэль.

— Отнюдь нѣть.

— Отнюдь нѣты! Ага!

Вислениевъ появился съ лампой и вдвоемъ съ Гордановымъ стала исправлять нарушенный на столѣ порядокъ, а Глафира Васильевна, не теряя минуты, вошла къ себѣ въ комнату и, доставъ изъ туалетного ящика двѣ радужныя ассигнаціи, подала ихъ горничной, съ приказаниемъ отпра-

вить эти деньги завтра въ Петербургъ, безъ всякаго письма, по адресу, который Бодротина вскоро выписала изъ письма Ципри-Кипри.

— Затѣмъ, послушай, Настя,—добавила она, остановивъ дѣвшую.— Ты въ черномъ платьѣ... это хорошо... Ночь очень темна?

— Не видно зги, сударыня, и тучится-сь.

— Прекрасно, — сходи, пожалуйста, на мельницу... и... Ты знаешь какъ пускаютъ шлюзы? Это легко.

— Попробую-сь.

— Возьмись рукой за ручку на валу и поверни. Это совсѣмъ не трудно, и упусти заслонку по рѣкѣ, или забрось ее въ крапиву, а потомъ бѣги домой чрезъ березникъ... Понимаешь?

— Все будетъ сдѣлано-сь.

— И это нужно скоро.

— Сію же минуту иду-сь.

— Бѣги, и платья чернаго нигдѣ не поднимай, чтобы не сверкали бѣлымъ юбки.

— Сударыня, ужели первый разъ ходить?

— Ну, да, иди же и все сдѣлай.

И Бодротина изъ этой комнаты перенесла къ запертымъ дверямъ Ларисы.

— Прости меня, chère Глафира; я очень разнемоглась и была не въ силахъ выйти къ столу,— начала Лариса, открыть дверь Глафиры Васильевны.

— Все знаю, знаю; но надо быть дѣвушкой, а не ребенкомъ: ты понимаешь, что можетъ случиться?

— Дуэль?

— А конечно!

— Но, Боже, что я могу сдѣлать?

— Прежде всего не ломать руки, а обтереть лицо водой и выйти. Одно твое появление его немножко успокоитъ.

— Кого его?

— Его, кого ты хочешь.

— Но я вѣдь не могу идти, Глафира.

— Ты должна.

— Помилуй, я шатаюсь на ногахъ.

— Я поддержу.

И Глафира Васильевна еще привела пѣсколько доказа-

тельствъ, убѣдившихъ Ларису въ томъ, что она должна пресодѣть себѣ и выйти внизъ къ гостямъ.

Лара подумала и стала обтирать заплаканное лицо, спачала водой, а потомъ пурдой, между тѣмъ какъ Бодростина, поджиная ее, ходила все это время взадъ и впередъ по ея комнатѣ, и наконецъ проговорила:

— Ахъ, красота, красота, сколько изъ-за нея дѣлается безобразія!

— Я проклинаю ее... мою красоту, — отвѣчала, паскоро вытираясь предъ зеркаломъ, Лариса.

— Проклиной или благословляй, это все равно; она наружѣ и внушаетъ чувство.

— Чувство! Глафира, развѣ же это чувство?

— Любовь!.. А это что же такое, какъ не чувство? Страстъ, «влеченье, родъ недуга».

— Любовь! такъ ты это даже называешь любовью! Нѣть; это не любовь, а развѣ звѣрство.

— Мужчины всегда такъ: что наше, то намъ не нужно, а что оспорено, за то сейчасъ и въ драку. Однако идемъ къ нимъ, Лара!

— Идемъ; я готова, но,—добавила она на ходу, держась за руку Бодростиной:—я все-таки того мнѣнія, что есть на свѣтѣ люди, которые относятся иначе...

— То-есть какъ это иначе?

— Я не могу сказать какъ... но иначе!

«Эхъ ты, бѣдный, бѣдный межеумокъ! — думала Бодростина.—Ей въ руки дается не человѣкъ, а кладъ: съ душой, съ умомъ и съ преданностью, а ей нужно она сама не знать чего? Нѣть; на этотъ счетъ стрижки были вась умнѣе. А впрочемъ, это прекрасно: пусть ее занята Гордановымъ... Не можетъ же она на неѣ женииться... А если?.. Да нѣть, не можетъ!»

Въ это время они дошли до дверей портретной, и Бодростина, представивъ гостямъ Ларису, сказала, что вмѣсто исчезнувшей лампы является живой, всеосвѣжающей свѣтъ.

— Свѣтильникъ безъ масла долго ли горить? — спросила она шепотомъ Подозерова, садясь возлѣ него на свое прежнее мѣсто.—Совѣтую помнить, что я сказала: и въ поцѣлуюхъ, и въ объятияхъ умъ имѣть великое значеніе! А теперь, господа, — добавила она громко: — пьемъ за здоровье

того, кто за кого хочетъ, и простите за плохой ужинъ, какимъ я васъ накормила.

Столь кончился, и Гордановъ тотчасъ же исчезъ. Бодростина зорко посмотрѣла ему вслѣдъ и велѣла человѣку подать на балконъ садовую свѣчу.

— Немножко нужно освѣжиться. Ночь темная, но тепла и ароматна... Ею надо пользоваться, скоро уже завоетъ вьюга и полымятъ дожди.

Подозеровъ сталь прощаться.

— Постойте же; сейчасъ вамъ запрягутъ карету.

— Нѣть, Бога ради, не нужно: я люблю ходить пѣшкомъ: здѣсь такъ близко, я скоро хожу.

Но Бодростина такъ твердо настояла на своемъ, что Подозеровъ долженъ былъ согласиться и остался ждать кареты.

— А я въ одну минуту возвращусь,—молвила она и ушла съ балкона.

Лариса, тотчасъ какъ только осталась одна съ Подозеровымъ, взяла его за руку и шепнула:

— Бога ради, зовите меня съ собою.

— Это неловко,—отвѣчалъ Подозеровъ.

— Но вы не знаете...

— Все знаю: вамъ не будетъ угрожать ничто, идите спать, заприте дверь и не вынимайте ключа, а завтра уѣзжайте. Идите же, идите!

— Вѣдь я не виновата...

— Вѣрю, знаю; идите спать!

— Повѣрьте мнѣ: все прошлое...

— Все прошлое не существуетъ болѣе, оно погребено и крестъ надъ нимъ поставленъ. Я совладѣла съ собою, не бойтесь за меня: я вылѣченъ и болѣе не захвораю, но дружба моя навсегда иослѣдуетъ за вами всюду.

— Погребено...—заговорила-было Лариса, но не успѣла досказать, чтѣ хотѣла.

— Ахъ, Боже, что это такое? Вы слышите, вдругъ хлынула вода!—воскликнула, вѣбгая въ это время на балконъ, Глафира Васильевна, и тотчасъ же послала людей на фабричную плотину, на которой уже замелькали огни и возлѣ нихъ показывались тѣни.

Человѣкъ доложилъ, что готова карета.

Подозеровъ простился; Лариса пошла къ себѣ наверхъ,

а Глафира Васильевна, открывъ окно въ залѣ, крикнула пучеру:

— На мостъ теперь идеть вода, пойзжай черезъ плотину, тамъ люди посвѣтять.

Лошади тронулись, а Бодростина все не отходила отъ окна, докуда тѣнь кареты не пробѣжала мимо свѣтящихся на плотинѣ фонарей.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Подъ крыломъ у темной ночи.

Проводивъ Подозерова, Глафира вернулась на балконъ, гдѣ застала Водопьянова. «Сумасшедшій Бедуинъ» теперь совсѣмъ не походилъ на самого себя: онъ былъ въ старомодномъ плюшевомъ картузѣ, въ камлотовой шинели съ капюшономъ, съ камфарной сигареткой во рту и держалъ въ рукѣ большую золотую табакерку. Онъ махалъ ею и, дѣляя безпрестанно прыжки на одномъ мѣстѣ, весь трялся и бормоталъ.

Видъ «Сумасшедшаго Бедуина» и его кривлянья и беспокойство производили, посреди царствующей темной ночи, самое непріятное впечатлѣніе.

Какъ ни была занята Бодростина своими дѣлами, но эта метаморфоза остановила на себѣ ея вниманіе, и она сказала:

— Что вы, Свѣтозарь Владеновичъ, какой страшный!

— А?.. что?.. Да, странникъ... Ѣду, Ѣду,—заговорилъ онъ, ещешибче махая въ воздухѣ своимъ капюшономъ.—Скверная планета, скверная: вдругъ холодно, вдругъ холодно, ухъ, жутко... жутко, жутко... кракъ! сломано! а другая женщина все поправить, поправить!

— Что это вы такое толкуете себѣ подъ носъ? Какая другая женщина и чтѣ опа поправить?

— Все, все... сѣ все легко. И-и-и-хъ! И-и-и-хъ! Прочь, прочь, вотъ я тебя табакеркой! Вотъ!..—И онъ дѣйствительно замахнулся своей табакеркой и ударилъ ею нѣсколько разъ по своему капюшону, который въ это время взвился и махалъ надъ его головой. — Видѣли вы? — заключилъ онъ, вдругъ остановясь и обращаясь къ Бодростиной.

— Что такое надо было видѣть.

— А черную птицу съ однимъ крыломъ? Опять! опять!
прочь!

И съ этими словами Водопьяновъ опять замахалъ табакеркой, заскакалъ по лѣстницѣ, спустился по ней и исчезъ.

Бодротина не обратила на это никакого вниманія. Онь уже надоеѣлъ ей, и притомъ она была слишкомъ занята своими мыслями и стояла около часа возлѣ периль, пока по куртинѣ вдоль акацій не мелькнула какая-то тѣнь съ ружьемъ въ руки.

При появлениі этой тѣни, Глафира Васильевна тихо шмыгнула за дверь и оттуда произнесла свистящимъ шепотомъ:

— Прахъ на двухъ лапкахъ!

Тѣни, вздрогнула, остановилась и потомъ вдругъ бросилась бѣгомъ впередь; Бодротина же прошла рядъ пустыхъ комнатъ, взошла къ себѣ въ спальню, отпустила дѣвушку и осталась одна.

Черезъ полчаса ея не было и здѣсь, она уже стояла у двери комнаты Павла Николаевича, на противоположномъ концѣ дома.

— Поль, отопри! — пастойчиво потребовала она, стукнувъ рукой въ дверь.

— Я легъ и погасилъ свѣчу, — отвѣчалъ дрожащимъ, нервнымъ голосомъ Гордановъ.

— Ничего, мнѣ надо съ тобой говорить. Довольно сибиритничать: настало время за работу, — заговорила она, переступя порогъ, межъ тѣмъ какъ Гордановъ зажегъ свѣчу и снова юркнулъ подъ одѣяло. — Я получила важныя вѣсти.

И она рассказала ему содержаніе знакомаго намъ письма Ципри-Кипри.

— Ты долженъѣхать немедленно въ Петербургъ.

— Это невозможно, меня тамъ схватятъ.

— Что бы ни было, я тебя выручу.

— И что же я долженъ тамъ дѣлать?

— Снсобствовать всѣмъ плутнямъ, но не допускать ничего крупнаго, а, главное, передать моего старика совсѣмъ въ руки Казимиры. Тыѣдешь? Ты долженъѣхать. Я дамъ тебѣ денегъ. Иначе... ты свободенъ дѣлать что хочешь.

— Хорошо, я пойду.

— И это лучше для тебя, потому что здѣсь ты, я вижу, начинаешь портиться и лѣзешь въ омутъ.

— Я?

— Да, ты. Благодари меня, что твое ружье осталось сегодня заряженнымъ.

— Ага! такъ это вотъ откуда ударили живопосный источникъ!

— Ну, да, а ты думалъ... Но что это такое? On frappe! Дверь действительно немножко колыхалась.

— Кто тамъ?—окликнула, вскочивъ, Бодростина.

Въ эту же секунду дверь быстро отворилась, и Глафира столкнулась лицомъ къ лицу съ Висленевымъ.

— Вотъ видите!—удивилась она.

— Я пришелъ сюда за спичкой, Глафира Васильевна,—пробормотала Висленева.

— Да, ты удивительно находчивъ, — замѣтилъ ему Гордановъ:—но дѣло въ томъ, что вотъ тебѣ спички; бери ихъ и отправляйся вонъ.

— Нѣть, онъ пришелъ сюда довольно по кстати: пусть онъ меня проводитъ отсюда назадъ.

И Бодростина поднялась и пошла впереди Висленева.

— Вы по какому же праву меня ревнуете? — спросила она вдругъ, нахмурясь и остановясь съ Иосафомъ въ одной изъ пустыхъ комнатъ.—Чего вы на меня смотрите? Не хотите ли отказываться отъ этого? Можете, но это будетъ очень глупо! Вы пришли, чтобы помышлать мнѣ видѣться съ Гордановымъ. Да?.. Но вотъ вамъ сказъ: кто хочетъ быть любимымъ женщиной, тотъ прежде всего долженъ этого заслужить. А потомъ... вторая истинна заключается въ томъ, что всякая истинная любовь скромна!

— Но чѣмъ я не скроменъ?—молвилъ, сложивъ у груди руки, Висленевъ.

— Вы нескромны. Любить такимъ образомъ, какъ вы меня хотите любить, этакъ меня всякий полюбитъ, мнѣ этого рода любовь надоѣла, и меня ею не возьмете. Понимаете вы, такъ ничего не возьмете! Хотите любить меня,—любите такъ, какъ меня никто не любилъ. Это одно еще мнѣ, можетъ-быть, не будетъ противно: сдѣлайтесь тѣмъ, чѣмъ я хочу, чтобы вы были.

— Буду, буду. Буду чѣмъ вы хотите!

— Тогда и надѣйтесь.

— Но чѣмъ же мнѣ быть?

— Это вамъ должно быть все равно: будьте тѣмъ, чѣмъ я захочу васъ возлѣ себя видѣть. Теперь мнѣ нравятся спириты.

— Вы шутите! Неужто же мнѣ быть спиритомъ?

— Ага! еще «неужто!» Послѣ такихъ словъ рѣшено: это условіе, безъ котораго ничто невозможно.

— Но это вѣдь... это будетъ не разумно-логичное требованіе, а капризъ.

Бодростина отодвинулась шагъ назадъ и, окинувъ Висленева съ головы до ногъ сначала строгимъ, а потомъ насмѣшиливымъ взглядомъ, сказала:

— А если бъ и такъ? Если бъ это и капризъ? Такъ вы еще не знали, что такая женщина, какъ я, имѣетъ право быть капризною? Такъ вы, прежде чѣмъ что-либо между нами, уже укоряете меня въ капризахъ? Прощайте!

— Нѣть, Бога ради... позвольте... я буду дѣлать все, что вы хотите.

— Да, конечно, вы должны дѣлать все, что я хочу! Иначе за что же, за что я могу вамъ позволять надѣяться на какое-нибудь мое вниманіе? Ну, сами скажите: за что? что такое вы могли бы мнѣ дать, чего сторицей не даль бы мнѣ всякой другой? Вы сказали: «капризъ». Такъ знайте, что и то, что я съ вами здѣсь говорю, тоже капризъ, и его сейчасъ не будетъ.

— Нѣть, Бога ради: я на все согласенъ.

Она молча взяла его за руку и потянула къ себѣ; Іосаѳъ поднялъ-было лицо.

— Нѣть, нѣть, я васъ цѣлую пока за послушаніе въ лобъ, и только...

— Опять капр... Гм! Гм!..

— А разумѣется, капризъ; неужели что-нибудь другое,— отвѣчала, уходя въ дверь, Бодростина.—Но,—добавила она весело, остановившись на минуту на порогѣ:—женскій капризъ бываетъ безъ границъ, и кто этого не знать въ-время, у того женщины подъ носомъ запираютъ двери.

И съ этимъ она исчезла; ключъ щелкнулъ, и Висленевъ остался одинъ въ темнотѣ.

Онъ подошелъ къ запертой двери, съ трудомъ онуцупаль замочную ручку и, пошевеливъ ее, назвалъ Глафиру, но собственный голосъ ему показался прегадкимъ-гадкимъ,

надтреснувшимъ и съвипимъ, а изъ-за двери ни гласа, ни послушанія. Глафира, очевидно, ушла далѣе, да и чего ей ждать?

Вислепевъ вздохнулъ и, заложивъ назадъ руки, пошелъ тихими шагами въ свою комнату.

«Все еще не везеть, — размышлялъ онъ. — Вотъ, думалъ: здѣсь повезеть, ань не везеть. Не старъ же еще я въ самомъ дѣлѣ! А? Конечно, не старъ... Нѣтъ, это все коммунки, коммунки проклятая дѣлаютъ: наболтаешься тамъ со стрижеными, вотъ за длинноволосыхъ и взяться не умѣешь! Надо вотъ что... надо повторить жизнь... Начну-ка я ста-ринные романы читать, а то въ самомъ дѣлѣ у меня такія манеры, что даже неловко».

Между тѣмъ Бодростина, возвратившись въ свою комнату, тоже не опочила, сѣла и, начавъ писать, вдругъ ахнула.

— А гдѣ же онъ? Гдѣ Водопьяновъ? Опять исчезъ! Но теперь ты, мой другъ, не уйдешь. Нѣтъ, дѣла мои слагаются превосходно, и спиритизмъ мнѣ долженъ сослужить свою службу.

«Свѣтозаръ Владеновичъ!» написала она черезъ минуту, «тѣмъ я болѣе вдумываюсь, тѣмъ» и пр., и пр. Однимъ словомъ, она съ обольстительной простотой открыла Водопьянову, какое вліяніе на нее имѣть спиритская философія, и заключила, что, чувствуя неодолимое влеченіе къ спиритизму, хочетъ такъ же откровенно, какъ онъ, назвать себя «спириткой».

Все это было сдѣлано немножко грубо и оляповато, — совсѣмъ не по-бодростиновски, но стоило ли церемониться съ «Сумасшедшими Бедуиномъ»? Глафира и не поцеремонилась.

Запечатавъ это письмо, она отнесла его въ комнату своей дѣвушки, положила конвертъ на столъ и велѣла завтра рано поутру отправить его къ Водопьянову, а потомъ уснула съ вѣрой и убѣжденіемъ, что для умнаго человѣка все на свѣтѣ имѣть свою выгодную сторону, все можетъ послужить въ пользу, даже и спиритизмъ, который, какъ крайняя противоположность тѣхъ теорій, ради которыхъ она утратила свою репутацію въ глазахъ моралистовъ, долженъ возвратить ей эту репутацію съ процентами и рентабеліемъ.

Если Гордановъ съ братіей и Ципри-Кипри съ сестрами

давно не упускаютъ слыть не тѣмъ, чтѣ они на самомъ дѣлѣ, то почему же ей этимъ манкировать? Это было бы просто глупо.

И Глафириѣ представилось ликованіе, какое будетъ въ извѣстныхъ ей чопорныхъ кружкахъ, которые, несмотря на ея официальное положеніе, оставались для нея до сихъ поръ закрытымъ небомъ, и она уснула, улыбаясь тому, какъ она вступить въ это небо возвратившейся заблуждавшуюся овцой, и какъ потомъ... дойдетъ по этому же небу до своихъ земныхъ пѣлей.

— Я буду... жена, которой не посмѣеть даже и касаться подозрѣніе! Я должна сознаться, что это довольно смѣшно и занимательно!

Лариса провела эту ночь безъ сна, сидя на своей постели. Утро въ бодростинскомъ домѣ началось поздно: уснувшая на разсвѣтѣ Лариса проспала, Бодростина тоже, но зато ко вставанію послѣдней ей готовъ былъ сюрпризъ: ей былъ доставленъ отвѣтъ Водопьянова на ея вчерашнее письмо, — отвѣтъ, вполнѣ достойный «Сумасшедшаго Бедуина». Онъ весь заключался въ слѣдующемъ: «Бобчинскій спросилъ: — можно называться? а Хлестаковъ отвѣчалъ: — пусть называется».

И болѣе не было ничего, ни одного слова, ни подписи.

Бодростина съ досадой бросила въ ящикъ письмо и сошла внизъ къ мужчинамъ, вся въ черномъ, противъ своего обыкновенія.

Между тѣмъ, пока дамы спали, а потомъ дѣлали свой туалетъ, въ сѣни мужской половины явился оборванный и босоногій крестьянскій мальчишонко и настойчиво требовалъ, чтобы длинный чужой баринъ вышелъ къ кому-то за гуменикъ.

— Кто же его зоветъ туда? — добивались слуги.

— А баринъ съ печатью на шляпѣ далъ мнѣ грошъ; на, говорить, бѣжи въ хоромы и скажи, чтобъ онъ сейчасъ вышелъ.

Слуги догадались, что дѣло идетъ о Висленевѣ, и доложили ему объ этомъ. Іосафѣ Платоновичѣ посовѣтовался съ Гордановымъ и пошелъ по курьезному вызову на таинственное свиданіе.

За гуменикомъ его ждалъ Форовъ.

— Здравствуйте-съ, мы съ вами должны уговориться, —

началь майоръ:—Гордановъ съ Подозеровымъ хотять стрѣляться, а мы секунданты, такъ вотъ мои условія: стрѣляться завтра, въ пять часовъ утра, за городомъ, въ Кольковскомъ лѣсу, на горкѣ. Стрѣлять разомъ, и при промахахъ съ обѣихъ сторонъ выстрѣль повторить. Чѣмъ, вы противъ этого ничего?

— Я ничего, но я вообще противъ дуэли.

— Ну, вы обѣ этомъ статью исполните, а теперь не ваше дѣло.

— А вы развѣ за дуэль?

— Да; я за дуэль, а то очень много подлецовъ разведется. Такъ извольте не забыть условія и затѣмъ имѣю честь...

Форовъ повернулся и ушелъ.

Въ домѣ у Бодростины, къ удивленію, никто этого не узналъ.

Гордановъ принялъ условія Форова и настрого запретилъ Висленеву выдавать это хоть однѣмъ намекомъ. Тотъ тотчасъ струсилъ.

Утро прошло скучно. Глафира Васильевна говорила о спиритизмѣ и о томъ, что она Водопьянова уважаетъ; гости зѣвали. Тотчасъ послѣ обѣда всѣ собрались въ городѣ, но Лариса не хотѣлаѣхать въ свой домъ одна съ братомъ и желала, чтобы ее отвезли на хуторъ къ Синтияниной, гдѣ была Форова. Для исполненія этого ея желанія Глафира Васильевна устроила пересѣздъ въ городѣ въ родѣ partie de plaisir; они поѣхали въ двухъ экипажахъ: Лариса съ Бодростиной, а Висленевъ съ Гордановымъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Послѣ скобеля топоромъ.

Увидавъ себя на дворѣ генеральши, Лариса въ первый разъ въ жизни почувствовала тотъ сладостный трепетъ сердца, который опущается человѣкомъ при встрѣчѣ съ близкими людьми, послѣ того какъ ему казалось, что онъ ихъ теряетъ невозвратно.

Лариса кинулась на шею Александрѣ Ивановнѣ и много разъ кряду ее поцѣловала; такъ же точно она встрѣтилась и съ теткой Форовой, которая, однако, была съ нею притворно холодна и приняла ея ласки очень сухо.

Бодростина была всегда и вездѣ легкой гостьей, никогда не заставлявшою хозяевъ заботиться о ней, чтобы ей было не скучно. У нея всегда и вездѣ находились собесѣники, она могла говорить съ кѣмъ угодно: съ честнымъ человѣкомъ и съ негодаемъ, съ монахомъ и комедіянтомъ, съ дуракомъ и съ умнымъ. Опытъ и практическія наблюденія убѣдили Глафиру Васильевну, что на свѣтѣ все можетъ пригодиться, что нѣть лишняго звена, которое бы умный человѣкъ не могъ положить не туда, такъ сюда, въ свое зданіе. Постѣдняя мысль о спиритизмѣ, который она рѣшилась эксплоатировать для возстановленія своей репутаціи, еще болѣе утвердила ее въ томъ, что все стѣнть вниманія и все пригодно.

Очутясь у Синтияниой, которую Бодростина ненавидѣла тою ненавистью, какою безсердечныи женщины ненавидятъ женщинъ строгихъ правиль и открытыхъ, честныхъ убѣждений, Глафира разсыпалась предъ нею въ шутливыхъ комплиментахъ. Она называла Александру Ивановну «русской матроной» и сожалѣла, что у нея нѣть дѣтей, потому что она вѣрно бы сдѣлала матерью русскихъ Гракховъ.

По поводу отсутствія дѣтей, она немножко вольно пошутила, но, замѣтивъ, что у генеральши дрогнула бровь, сей-часъ же обратила рѣчь къ Ларисѣ и воскликнула:

— Да когда же это ты, Лара, выйдешь наконецъ замужъ, чтобы при тебѣ можно было о чёмъ-нибудь говорить?

Бисленевъ, по обыкновенію, расхаживалъ важною журавлиною походкой и, заложивъ большие пальцы обѣихъ рукъ въ карманы, остальными медленно и отчетисто ударялъ себя по панталонамъ. Говорилъ онъ сегодня, противъ своего обыкновенія, очень мало, и все какъ будто хотѣлъ сказать что-то необыкновенное, но только не рѣмался.

Зато Гордановъ смотрѣлъ на всѣхъ до наглости смѣло и видимо порывался къ дерзостямъ. Порывы эти проявлялись въ немъ такъ беззастѣнчиво, что Синтиянина на него только глядѣла и подумывала: «каково заручился!» Отъ времени до времени онъ поглядывалъ на Ларису, какъ бы желая сказать: смотри, какъ я раздраженъ, и это все чрезъ тебя; я не дорожу никѣмъ и сорву свой гнѣвъ на комъ представится.



Лариса имѣла видъ невыгодный для ея красоты: она выглядывала потерянно и больше молчала. Не такова она была только съ одною Форовой. Лариса слѣдила за теткой, и когда Катерина Астафьевна ушла въ комнаты, чтобы наливать чай, бѣдная дѣвушка тихо, съ опущенными головкой, послѣдовала за нею и, догнавъ ее въ темныхъ сѣняхъ, обняла и поцѣловала.

Катерина Астафьевна притворилась, что она сердита и будто даже не замѣтила этой ласки племянницы.

Лариса сѣла противъ пея за столъ и заговорила о незначительныхъ постороннихъ предметахъ. Форова не отвѣчала.

— Вы, тетя, сегодня здѣсь очутились? — наконецъ спросила Лариса.

— Не знаю-съ, какъ мнѣ Богъ по сердцу положить.

— Пойдемте лучше домой.

— Куда это? Тебѣ одна дорога, а мнѣ другая. Вамъ въ Тверь, а намъ въ дверь.

Лариса встала и, зайдя сзади тетки, поцѣловала ее въ голову. Она хотѣла приласкаться, но не умѣла, — все это у нея выходило какъ-то неестественно. Форова это почувствовала и сказала:

— Сядь ужъ лучше, пожалуйста, милая, на мѣсто, не строй подлизѣ.

У Ларисы больше въ запасѣ ничего не нашлось, она въ самомъ дѣлѣ сѣла и отвѣчала только:

— Я думала, что вы, тетя, добре.

— Какъ не добре! ты вѣрно думала, что если меня пошѣй будуть гнать, такъ я буду шею только потолще оберывать. Не сподобилась я еще такого смиренія.

— Простите меня, тетечка, если я васъ обидѣла. Я была очень разстроена.

— Что-ѣ-то, говорять, ты скоро замужъ идешь?

— За кого это?

— За кого же, какъ не за Гордашку? Нѣть, а Подозрѣвъ, ей-Богу, молодецъ!

Форова захохотала.

— Ты, вѣрно, думала, что ему уже живого разстанья съ тобою не будетъ, а онъ раскланялся и былъ таковъ: носъ наклеилъ. Вотъ, на же тебѣ!.. Люблю такихъ мужчинъ до смерти и хвалю.

— И даже хвалите?

— А, разумеется, хвалю! Да что на насъ, дуръ, смотрѣть, какъ мы ломаемся? Этого добра вездѣ много, а женишки нынче въ сапожкахъ ходять, а особенно хороши.

Лариса встала и вышла.

— Кусаеть, барышня, кусаеть! — промолвила про себя Форова и еще долго продолжала сидѣть одна за чайнымъ столомъ въ маленькой передней и посыпать гостямъ стаканы въ осинникъ. Размышленіямъ ея никто не мѣшалъ, кромѣ дѣвочки, приходившей перемѣнять стаканы.

Но вотъ по крыльцу послышался шорохъ юбокъ, и въ комнату скорыми шагами вошла Александра Ивановна.

— Чѣдѣлалось съ Гордановымъ? — сказала она, быстро подходя къ Форовой. — Представь ты, что онъ, что ни слово, то старается всѣмъ сказать какую-нибудь дерзость!

— И тебѣ что-нибудь сказаль?

— Да, разные намеки. И Бодростиної, и Висленеву. А бѣдняжка Лара совсѣмъ при немъ смущена.

— Есть грѣхъ.

— А Подозеровъ съ Гордановымъ даже и не говорятъ; между ними что-то было.

Въ это время голоса гостей послышались подъ самыми окнами на дворѣ.

— Огня! Жизни! Господа, въ комъ есть огонь: я горѣть хочу! — говорила, стоя на одномъ мѣстѣ, Бодротина.

Ни Лариса, ни Подозеровъ, ни Гордановъ и Висленевъ не трогались, но въ эту минуту вдругъ сильнымъ порывомъ распахнулась калитка и на дворѣ влетѣли отецъ Евангель и майоръ Форовъ, съ огромной палкой въ рукѣ и вѣчною толстою папироскою во рту.

Оба эти новыя лица были отчего-то въ большихъ попыхахъ и неслись какъ буревѣстники передъ грозой.

Встрѣтивъ стоящее на дворѣ общество, они, повидимому, смыкались, но, однако, Форовъ тотчасъ же поправился и, взявъ за руку Бодротину, сказалъ:

— Цѣлую вашу лапку! — и дѣйствительно подѣловалъ ее.

— Merci, Филетерь Ивановичъ, за вниманіе, я нуждаюсь въ немъ, я хочу горѣть и никто не спѣшить угасить мой пламень... Вы умѣете бѣгать?

— Какъ скороходъ.

— Заяцъ быстрѣе бѣгастъ, чѣмъ скороходъ,—отозвался Гордановъ.

Майоръ не обратилъ на эти слова никакого вниманія.

— Кто же со мной?—вызывалъ онъ.

— Я,—отвѣчала, сходя съ крыльца, генеральша и стала съ Форовымъ и побѣжала.

Бодростина поймала Александру Ивановну.

Форовъ былъ неудовимъ: онъ дѣйствительно бѣгалъ какъ заяцъ.

Висленевъ подалъ руку сестрѣ и сталъ во вторую пару.

Майоръ тотчасъ же поймалъ Ларису.

Шумъ, бѣготня этой игры и крики и смѣхъ, безъ которыхъ не обходятся горѣлки, придали всѣмъ неожиданное оживленіе и вызвали даже майоршу.

— Давайте и мы съ вами пожуируемъ, — пригласилъ ее тотчасъ отецъ Евангель и, подобравъ вокругъ себя подрясникъ, побѣжалъ третьей парой, но спутался со своею дамой и упалъ.

Это возбудило общій хохотъ.

— Одинъ Гордановъ не принималъ участія! Что это такое? Играйте сейчасъ, Гордановъ, я вамъ это приказываю,—пошутила Бодростина.

— Не слушаю я ничьихъ приказовъ.

— Послушайте хоть въ шутку.

— Ни въ шутку, ни въ серьезъ.

— Вышелъ изъ повиновенія! Ну, такъ серьезничайте же за наказаніе.

— Я не серьезничаю, а не хочу падать.

— Не велика бѣда.

— Да, кому падать за обычай, тому дѣйствительно не штука и еще одинъ лишній разъ упасть.

Бодростина сдѣлала видъ, что не слыхала этихъ словъ, побѣжала съ Форовымъ, но майоръ все слышалъ и немножко покосился.

— Послушайте-ка,—сказалъ онъ, улучивъ минуту, Синтаниной.—Замѣчаете вы, что Гордановъ завирается!

— Да, замѣчаю.

— И что же?

— Ничего.

— Гмъ!

— Онъ этимъ себѣ реноме здѣсь составилъ; но все-таки

я думала, что опять умнѣе и знаеть, гдѣ что можно и гдѣ пользы.

— Чортъ его знаетъ, что съ нимъ сдѣлалось

— Ничего; онъ зазнался; а можетъ-быть и совсѣмъ не зналъ, что мои двери такими людямъ замерты.

Между тѣмъ Катерина Астафьевна распорядилась закуской. Столъ былъ накрытъ въ той комнатѣ, гдѣ въ началѣ этой части романа сидѣла на полу Форова. За этимъ по-коемъ, въ отворенную дверь была видна другая очень маленькая комнатка, гдѣ надъ диваномъ, какъ разъ предъ дверью, висѣлъ задернутый густою драпировкой изъ кисеи портретъ первой жены генерала, Флоры. Эта каютка была спальню генеральши и Вѣры, и болѣе во всемъ этомъ жильѣ никакого помѣщенія не было.

Мужчины подошли къ закускѣ и выпили водки.

— Форал — возгласилъ неожиданно Гордановъ, наливая себѣ во второй разъ полрюмки вина.

— Чего-съ? — оборотился къ нему Форовъ.

— Ничего: я говорю «фора», даю знакъ пить снова и снова.

— Ахъ, это!..

— Ну-съ; я васъ поздравляю: ему быть отъ меня битому, — иницпуль, наклонясь къ Синтианий, майоръ.

— Надѣюсь, только не здѣсь.

— Нѣть, нѣть, въ другомъ мѣстѣ!

Висленевъ разсказывалъ сестрѣ, Форовой и Глафириѣ о странномъ снѣ, который ему привидѣлся прошлою ночью.

— Не вѣрь, батюшка, снамъ, всѣ они врутъ, — отвѣтила ему майорша.

— Есть пустые сны, а есть сны вѣщи, — возразилъ ей Висленевъ. — Мне нравится на этотъ счетъ теорія спиритовъ. Вы ее знаете, Филетерь Ивановичъ?

— Читали мы кой-что. Помнишь, отецъ Евангель, иовый завѣтъ-то ихній... Эка белиберда какая!

— Оно, говорятъ, вѣдь по Евангелю писано.

— Да; въ здоровый бульонъ мистическихъ помой под-лито.

— Тѣхъ же щей, да пожиже захотѣлось, — вставилъ свое слово Евангель.

— А я уважаю спиритовъ и увѣренъ, что они дадутъ намъ нечто обновляющее. Смотрите: узкое, старое или такъ-

называемое церковное христіанство обветшало, и въ него—сознайтесь—искренно мало кто вѣритъ, а въ другой крайности, что же? Безплодный материализмъ.

— Ну-съ?

— Ну-съ, и должно быть что-нибудь новое, это и есть спиритуализмъ. Смотрите, какъ онъ захватываетъ въ Америкѣ и повсюду, напримѣръ у насъ въ Петербургѣ: даже некоторые государственные люди...

— Столы вертятъ,—подсказалъ майоръ.—Что же, и прекрасно.

— Нѣть; не одни столы вертятъ, — а въ самомъ дѣлѣ отвѣты отъ мертвыхъ получаютъ.

— Ничего-съ, стихійное мудрованіе, все это кончится вздоромъ,—отрѣзаль Евангель.

— Ну, подождите, какъ-то вы съ нимъ справитесь.

— Ничего-съ: христіанство и не такихъ враговъ видало.

— Ну, этихъ не видало, это новая сила: это не грубый материализмъ, а это тонкая, тонкая сила.

— Во-первыхъ, это не сила,—отозвался Форовъ:—а во-вторыхъ, вы исторіи не знаете.

— Вотъ какъ! Кто вамъ сказалъ, что я ее не знаю?

— А, разумѣется, не знаете! Все это, государь мой, старье.

И Форовъ началъ перечислять Висленеву связи спиритизма съ мистическими и спиритуальными школами всѣхъ временъ.

— Да,—перебилъ Висленевъ:—но сказано вѣдь, что ново только то, что хорошо забыто.

— Аnsi рeturnementъ гуменъ-ѣсть-фетъ,—отозвался отецъ Евангель, произнося варварскимъ, бурсацкимъ языкомъ французскія слова.—Да и сіе не ново, что все не ново.

Paix engendre prospérité,
De prospérité vient richesse,
De richesse orgueil et volupté,
D'orgueil—contentions sans cesse;
Contention—la guerre se presse...
La guerre engendre pauvreté,
La pauvreté l'humilité,
L'humilité revient la paix...
Ainsi retournement humain est fait!

Прочиталъ, ничто же сумняся и мня себя говорящимъ по-французски, Евангель.

Заинтересованные его французским членіемъ, къ нему обернулись всѣ, и Бодростина воскликнула:

— Ахъ, какая у васъ завидная память!

— Нѣтъ-съ, и начитанность какая, добавьте! — заступился Форовъ.—Вы, Іосафъ Платонычъ, знаете ли, чыи это стихи онъ намъ привелъ? Это французский поэтъ Климентъ Маро, котораго вы вотъ не знаете, а котораго, между тѣмъ, согнавшія въ землѣ поколѣнія наизусть твердили.

— А за всѣмъ тѣмъ я все-таки спирить! — рѣшилъ Висленевъ.

Онъ ожидалъ, что его заявленіе просто произведетъ тревогу, но оно не произвело ничего. Только Форовъ одинъ отозвался, сказавъ:

— Я самъ, когда порядкомъ наспиртуюсь, такъ тоже дѣлаюсь спирить.

— Значитъ, это хроническое,—послышалось отъ Горданова.

Форовъ всталъ изъ-за стола и, отойдя къ свѣчѣ, стоявшей на комодѣ, началъ перелистывать книжку журнала.

— Что это такое вы разматываете, майоръ? — спросилъ его Гордановъ, ставъ у него за спиной и чистя перышкомъ зѣбы. Но Форовъ, вместо отвѣта, вдругъ нетерпѣливо махнулъ локтемъ и грубо крикнулъ: — Но-о!

Павель Николаевичъ, сдерживая улыбку, удивился.

— Чего это вы по-кучерски кричите? — сказалъ онъ: — я вѣдь не лошадь.

— Я не люблю, чтобы у меня за ухомъ зѣбы чистили, я брюзгливъ.

— И не буду, майоръ, не буду, — успокоилъ его Гордановъ, фамильярно касаясь его плеча; но эта новая шутка еще больше не понравилась Форову, и онъ закричалъ:

— Не троныте меня, я нервенъ.

— При этакой-то корпуленціи и нервень?

И Гордановъ еще разъ слегка коснулся боковъ Форова.

Майоръ совсѣмъ взбѣсился и у него затряслись губы.

— Говорю вамъ, не троныте меня: я щекотливъ!

— Господинъ Гордановъ, да не троныте же вы его! — проговорила, подходя къ мужу, Форова.

— Извините, я щутилъ, — отвѣчалъ Гордановъ: — и вовсе не думалъ разсердить майора. Вотъ, Висленевъ, ты теперь спирить, объясни же намъ по спиритизму, что это дѣлается

со здоровымъ человѣкомъ, что онъ вдругъ становится то брюзгливъ, то нервень, то щекотливъ и...

— Вонъ у него какая палка нынче съ собою! — поддержасть пріятеля Висленевъ, взявъ поставленную майоромъ въ углу толстую бѣлую палку.

Но Форовъ, дѣйствительно, стала и нервень, и щекотливъ; онъ уже слышалъ то, чего другіе не слыхали, и обижался, когда его не хотѣли обидѣть.

— Не троньте моей палки! — закричалъ онъ, поблѣднѣвъ и весь заколотясь въ лихорадкѣ азарта, бросился къ Висленеву, вырвалъ палку изъ его рукъ и, ставя ее на прежнее мѣсто въ уголь, добавилъ: — Моя палка чужихъ бѣть!

— Господа, прекратите, пожалуйста, все это, — серъезно объявила, вставая, Александра Ивановна.

Гости почувствовали себя въ неловкомъ положеніи, и Гордановъ, Глафира и Висленевъ вскорѣ стали прощаться.

— Не будемъ сердиться другъ на друга, — сказала Бодростина, пожимая руки Синтианиной.

— Нисколько, — отвѣчала та. — До свиданія, Іосафъ Платоновичъ.

— А со мною вы не прощаитесь? — отнесся къ ней Гордановъ, котораго она старалась не замѣтить.

— Нѣть, съ вами-то именно я рѣшительнѣе всѣхъ прощаюсь.

— Позвольте вашу руку!

— Нѣть; не подаю вамъ и руки на прощанье, — отвѣчала Синтинина, принимая свою руку отъ руки Висленева и пряча ее себѣ за спину.

— Конечно, я знаю, мой пріятель во всемъ и всегда былъ счастливѣе меня... Я конкурировать съ Жозефомъ не посмѣю. Но, во всякомъ случаѣ, не желалъ бы... не желалъ бы по крайней мѣрѣ навлечь на себя небезопасный гнѣвъ вашего превосходительства.

Александра Ивановна слегка поблѣднѣла.

— Ваше превосходительство такъ хорошо себя поставили.

— Надѣюсь.

— Супругъ вашъ генералъ, имѣеть такое вліяніе...

— Что даже его жена не защищена отъ наглостей въ своемъ домѣ.

— Нѣть; что предъ вами должно умолкнуть все, чтобы потомъ не каяться за слово.

— Вонь! — воскликнула быстро Александра Ивановна, вытянув вперед руку, указала Горданову пальцем к выходу.

Павел Николаевич не успел опомниться, какъ Форовъ отмахнулъ предъ нимъ настежь дверь и, держа въ другой рукѣ свою палку, которая «чужихъ бѣть», сказалъ:

— Имѣю чести!

Гордановъ оглянулся вокругъ и, видя попрежнему вытянутую руку Синтииной, вышелъ.

Вслѣдъ за нимъ пошли Бодростина и Висленевъ и покатили въ городъ, Богъ вѣсть въ какомъ настроеніи духа.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Крестъ.

Отъ Александры Ивановны никто не ожидалъ того, что она сдѣлала. Выгнать человѣка вонь изъ дома такимъ прямымъ и безцеремоннымъ образомъ, — это рѣшительно было не похоже на выдержанную и самообладающую Синтиину; по Горданову, давно ее злившій и раздражавшій, имѣть неосторожность или имѣть расчетъ коснуться такого большого мѣста въ ея душѣ, что сердце генеральши сорвалось, и произошло то, что мы видѣли.

На-время не станемъ доискиваться: былъ ли это со стороны Горданова неосторожный промахъ, или точно и вѣрно разсчитанный планъ, и возвратимся къ обществу, оставшемуся въ домикѣ Синтииной послѣ отѣзда Бодростиной, Висленева и Горданова.

Наглость Павла Николаевича и все его поведеніе здѣсь вообще взволновали всѣхъ. Никто, по его милости, теперь не былъ похожъ на себя. Форовъ бѣгалъ какъ звѣрь взадъ и впередъ; Подозеровъ, отворотясь отъ окна, у которого стоялъ во все время дебюта Горданова, былъ блѣденъ какъ полотно и сжималъ кулаки; Катерина Астафьевна дергала свои сѣдые волосы, а отецъ Евангель сидѣлъ, сложа руки между колѣнъ, и, глядя себѣ въ ладони, то сдвигалъ, то раздвигалъ ихъ, не допуская одной до другой. Лариса же стояла какъ статуя печали. Одна Александра Ивановна была, повидимому, спокойнѣе всѣхъ, но и это было только повидимому: это было спокойствіе человѣка, удовлетворив-

шаго неудержимому порыву сердца, но еще не вдумавшагося въ свой поступокъ и не давшаго себѣ въ немъ отчета. Человѣкъ въ первыя минуты послѣ вспышки чувствуетъ себя бодро и крѣпко, — крѣпче чѣмъ всегда, въ пору обыкновенного спокойнаго состоянія. Таково было теперь еще состояніе и Александры Ивановны. Она спокойно слушала восторги Форовой и глядѣла на благодарственные кресты, которыми себя осѣняла майорша. Одна Катерина Астафьевна была вполнѣ довольна всѣмъ тѣмъ, что случилось.

— Слава же тебѣ, Господи,—говорила она:—что на этого шиншмору напалась наконецъ гроза!

— Онь уже слишкомъ зазнался! — замѣтила Александра Ивановна.—Ему давно надо было напомнить о его мѣстѣ.

И въ маленькомъ обществѣ начался весьма понятный при подобномъ случаѣ разговоръ, въ которомъ припомнились разныя выходки, безнаказанно сошедшия съ рукъ Горданову.

Александра Ивановна, слушая эти разсказы, все болѣе и болѣе укрѣплялась во мнѣніи, что она поступила такъ, какъ ей слѣдовало поступить, хотя и начинала уже сожалѣть, что нужно же было всему этому случиться у нея и съ нею.

— Я надѣюсь, господа, — сказала она: — что такъ какъ дѣло это случилось между своими, то сору за дверь некому будетъ выносить, потому что я отнюдь не хочу, чтобы объ этомъ узналъ мой мужъ.

— А почему это? — вмѣшалась Форова. — А по-моему, такъ, напротивъ, надо разсказать это Ивану Демьянычу, пусть онъ, какъ генералъ, и своею властью его за это хорошенько бы прошколилъ.

— Я не хочу огорчать мужа: онъ вспыльчивъ и горячъ, а ему это вредно, и потомъ скандалъ—все-таки скандалъ.

— Ну, да! вотъ такъ мы всегда: все скандаловъ боимся, а мерзавцы, подобные Гордашкѣ, этимъ пользуются. А ты у меня, Сойга Петровна! — воскликнула майорша, вдругъ подскочивъ къ Ларисѣ и застучавъ пальцемъ по своей ладони:—ты себѣ смотри и на усь намотай, что если ты еще гдѣ-нибудь съ этимъ Гордашкой увидишся или позволишь ему къ себѣ подойти и станешь отвѣтчать ему... такъ я... я не знаю, что тебѣ при всѣхъ скажу.

Синтианиной нравился этотъ поворотъ въ отношеніяхъ Форовой къ Ларисѣ. Она хотя и не сомнѣвалась, что майорша недолго просердится на Лару и примирится съ нею по собственной инициативѣ, но все-таки ей было приятно, что это уже случилось.

Форова теперь вертѣлась какъ юла, она вездѣ шарила свои пожитки, ласкала мужа, ласкала генеральшу и Вѣру, и нашла случай спросить Подозерова: говорилъ ли онъ о чёмъ-нибудь съ Ларой или нетъ?

— Лариса Платоновна со мной не разговаривала,—отвѣчалъ Подозеровъ.

— Да; значитъ, ты не говорилъ. Ну, и прекрасно, такъ и показывай, что она тебѣ все равно, что ничего, да и только. Саша!—обратилась она къ Синтианиной:—вели намъ запрячь твою карафашку! Или ужъ намъ ее запрягли?

— Да; лошадь готова.

— Ну, Лара, ёдемъ! А ты, Форовъ, хочешь съ нами на передочекѣ? Мы тебя подвеземъ.

— Нетъ, я въ городъ не поѣду,—отвѣчалъ майоръ.

— Завтра пѣшкомъ идти все равно далеко... Садись съ нами! Садись, поѣдемъ вмѣстѣ, а то мнѣ тебя жаль.

Но Форовъ опять отказался, сказавъ, что у него еще есть дѣло къ отцу Евангелу.

— Ну, такъ я съ Ларой ёду. Прощай.

И майорша, простясь съ мужемъ и съ пріятелями, вышла, подъ руку съ Синтианиной, съ Ларисой въ карафашку и взяла вожжи.

Вскорѣ по отѣздѣ Ларисы и Форовой вышли и другіе гости, но передъ тѣмъ майоръ и Евангель предъявили Подозерову принесенный имъ изъ города газеты съ литературой Кишенскаго и Ванскоѣ. Подозеровъ поблѣднѣлъ, хотя и не быть этимъ особенно тронутъ, и ушелъ спокойно, но на дворѣ вспомнилъ, что онъ будто забылъ свою папиросницу, и вернулся назадъ.

— Александра Ивановна! — позвалъ онъ. — Не осудите меня... я вернулся къ вамъ съ хитростью.

— Я вѣсъ не осуждаю.

— Нетъ; серьезно: у меня есть странная, но очень важная для меня просьба къ вамъ.

— Что такое, Андрей Ивановичъ! Я, конечно, сдѣлаю все, что въ силахъ.

— Да; вы это въ силахъ: не откажите, благословите меня этой рукой.

— Господи помилуй и благослови младенца Твоего Андрея,—произнесла, улыбаясь, Синтинина.

— Нѣть; вы серьезно, съ вашей глубокой вѣрой и отъ души вашей меня перекрестите.

— Но что съ вами, Андрей Иванычъ? Вы же сейчасъ только принимали все такъ холодно и были спокойны.

— Я и теперь спокоенъ какъ могила, но нѣть мира въ моей душѣ... Дайте мнѣ этого мира... положите на меня крестъ вашею рукой... Это... я увѣренъ, принесетъ мнѣ... очень нужную мнѣ силу.

Александра Ивановна минуту постояла, какъ бы призываая въ глубину души своей спокойствіе, и затѣмъ перекрестила Подозерова, говоря:

— Миръ мой даю вамъ и молю Бога спасти васъ отъ всякаго зла.

Подозеровъ поцѣловалъ ея руку и, выйдя, скоро догналъ за воротами Форова и Евангела, который, при приближенії Подозерова, тихо говорилъ что-то майору. При его приближенії они замолчали.

Подозеровъ догадался, что у нихъ рѣчь шла о немъ, но не сказалъ ни слова.

У перекрестка дорогъ, гдѣ священнику надо было идти направо, а Подозерову съ Форовымъ налево, они остановились, и Евангель сладостно заговорилъ:

— Андрей Иванычъ, зайдемте лучше переночевать ко мнѣ.

— Нѣть, я не могу,—отвѣчалъ Подозеровъ.

— Видите ли что... мы тамъ поговоримте съ моей папинькой (отецъ Евангель и его попадья звали другъ друга «папиньками»): она даромъ, что попадья, а иногда удивительные взгляды имѣеть.

— Да, да, матушка умная женщина, поклонитесь ей; но я не могу, не могу, я спѣшу въ городъ.

Подозерову хотѣлось, чтобы никто, ни одна женщина съ нимъ болѣе не говорила и не касалась бы его ни одна женская рука.

Онъ несъ на себѣ благословеніе и хотѣлъ, чтобы оно почивало на немъ ничѣмъ не возмущаемое.

ГЛАВА ДВЪНАДЦАТАЯ.

Лариса не узнаетъ себя.

Висленсвъ ѿхалъ въ экипажѣ вмѣстѣ съ Бодростиной, Гордановъ же держалъ путь одинъ; онъ въ городѣ отсталъ отъ нихъ и, пріѣхавъ прямо въ свою гостиницу, отославъ съ лакеемъ лошадь, а самъ остался дома.

Около полуночи онъ всталъ, взялъ, по обыкновенію, маленький револьверъ въ карманъ и вышелъ.

Когда Лариса и Форова пріѣхали домой, Іосафъ Висленсвъ еще не возвращался. Катерина Астафьевна и Лара не намѣрены были его ждать. Форова обошла со свѣчкой весь домъ, попробовала свою цитру и, раздѣвши, легла въ постель.

Лариса тоже была уже раздѣта.

Комнаты, въ которыхъ онѣ спали, были смежны.

По Ларисѣ не спалось, она вышла въ залу, походила взадъ и впередъ и, взявъ съ фортепіано цитру, принесла ей къ теткѣ.

— Прошу васъ, сыграйте миѣ что-нибудь, тетя.

— Вздумала же: ночью я буду ей играть!

— Да, именно, именно теперь, тетя, ночью.

Форова поднялась на локоть и торопливо заглянула въ глаза племянницы острымъ и беспокойнымъ взглядомъ.

— Что вы, тетя? Я ничего, но... мнѣ нестерпимо... я хочу звуковъ.

— Открой же рояль и сыграй себѣ сама.

— Нѣть, не рояль, а это вотъ, это, — отвѣчала Лара, морща лобъ и подавая теткѣ цитру.

Катерина Астафьевна взяла инструментъ, и нѣжные, ициплющіе звуки тоикихъ металлическихъ струнъ зашѣли: «Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ».

Лариса стала быстро ходить взадъ и впередъ по комнатѣ и часто взглядывала на изображеніе распинаемаго на Голгоѳѣ Христа.

Цитра кончила, но чрезъ мигу крошечный инструментъ снова защищалъ сердце, и ему неожиданно началъ вторить дребезжащей, но еще довольно сильный голосъ майорши.

«Помощникъ и покровитель, бысть мнѣ во спасеніе», — пѣла со своею цитрой Катерина Астафьевна.

Лара вздохнула и, оборотясь къ образу, тихо стала на

колѣни и заплакала, и молилась, молилась словами тетки, и вдругъ потеряла ихъ. Это ее удивило и разсердило. Она дѣлала всѣ усилия поймать оборванную мысль, но за стѣной ея спальни, въ залѣ, неожиданно грянула бальный оркестръ.

Лариса вскочила и взялась за лобъ... Ничего не было, никакого оркестра: ясно, что это ей только показалось.

Лариса посмотрѣла на часы, было уже часъ за полночь. Она взошла въ комнату тетки и позвала ее по имени, но Катерина Астафьевна крѣпко спала.

Лара поняла, что столбнякъ ея длился довольно долго, прежде чѣмъ ее пробудили отъ него звуки не существовавшаго оркестра, и удивилась, какъ она не замѣтила времени. Она торопливо заперла дверь въ залу на ключъ, помолилась наскоро предъ образомъ, раздѣлася, поставила свѣчу на предпостольномъ столикѣ и сѣла въ одной сорочки и кофтѣ на диванѣ, который служилъ ей кроватью, и снова задумалась.

Такъ прошелъ еще часъ. Висленевъ все не возвращался еще; а Лариса все сидѣла въ томъ же положеніи, съ опущеною на грудь головой, съ одною рукой, упавшею на кровать, а другою окаменѣвшую съ перстомъ на устахъ. Чёрные волосы ея разбѣгались тучей по бѣлымъ плечамъ, нескромно открытымъ воротомъ сорочки; одна нога ея еще оставалась въ нескинутой туфлѣ, межъ тѣмъ какъ другая, босая и какъ мраморъ бѣлая, опиралась на голову разостланной у дивана тигровой шкуры.

«Господи! — думала она, мысленно проведя предъ собой всю свою недолгую прошлую жизнь. — Какой путь лежитъ предо мною и чѣмъ мнѣ жить? Въ какомъ капризѣ судьбы и для чего я родилась на этотъ свѣтъ, и для чего я, прежде чѣмъ начала жить, растеряла всѣ силы мои? Зачѣмъ предо мною такъ безпощадно одни осуждали другихъ и сами становились всѣ другъ друга хуже? Гдѣ же идеаль?.. Я безъ него... Я вся дитя сомнѣний: я ни съ кѣмъ не согласна и не хочу соглашаться. Я не хочу бабушкиной морали и не хочу морали внучекъ. Миѣ противны онѣ и противны тѣ, кто за нихъ стоитъ, и тѣ, кто ихъ осуждаетъ. Это все люди съ концомъ въ самомъ началѣ своей жизни... А гдѣ же живая душа съ вѣчнымъ движениемъ впередъ? Не дядя ли Форовъ, замерзшій на отжившей старинѣ; не смиренный ли

Евангель; не братъ ли мой, мой жалкій Іосафъ, или не Подозеровъ ли,—Испанскій Дворянинъ, съ одною вѣчною и неизмѣнною честностью? Что я буду дѣлать съ нимъ? Я не могу же быть... испанской дворянкой! Я хочу... ничего не хотѣть, и... Этотъ человѣкъ... Гордановъ... въ немъ мой покой! Я его ненавижу и... я люблю его... Я люблю этотъ трепетъ и страхъ, которые при немъ чувствую! Боже, какое это наказаніе! Меня къ нему влечетъ невѣдомая сила, и между тѣмъ... онъ дерзокъ, нагль, надмененъ... даже, можетъ-быть, не честенъ, но... онъ любить меня... Онъ любить меня, а любовь творить чудеса, и это чудо надъ нимъ совершу я!..»

Лариса покраснѣла и вздрогнула.

Можетъ-быть, что ее испугала свѣча, которая горѣла тихо и вдругъ вспыхнула: на нее метнулась ночная бабочка и, опаливъ крылышки, прилипла къ стеарину и затрепетала. Лариса осторожно сняла настѣкомое со свѣчи и въ особенномъ соболѣзвнованіи вытерла его крылышки и хотѣла уже встать, чтобы выпустить бабочку въ садъ, какъ взглянула въ окно и совсѣмъ потерялась.

Въ узкой полосѣ стекла между недошедшою на вершокъ до подоконника шторой на нее смотрѣли два черные глаза; она въ ту же минуту узнала эти глаза: то были глаза Горданова.

Первымъ впечатлѣніемъ испуганной и сконфуженной Лары было чувство ужаса, затѣмъ весьма понятный стыдъ, потому что она была совсѣмъ раздѣта. Затѣмъ первое ея желаніе было закричать, броситься къ теткѣ и разбудить ее, но это желаніе осталось однимъ желаніемъ: открытыя уста Лары только задули свѣчу и не издали ни малѣйшаго звука.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Въ ожиданіи худшаго.

Оставшись впотьмахъ и обезпеченная лишь тѣмъ, что ея теперь не видно, Лара вскочила и безотчетно взялась за положенный на креслѣ пеньюаръ.

А между тѣмъ, когда въ комнатѣ стало темнѣе, чѣмъ въ саду, гдѣ былъ Гордановъ, Лариса стала видѣть весь движущійся контуръ его головы.

Гордановъ двигался взадъ и впередъ вдоль подзора шторы: имъ, очевидно, все болѣе овладѣвало нетерпѣніе и наглость его бушевала безсиліемъ...

Ларисѣ еще представлялась полная возможность тихо разбудить тетку, но она этого не сдѣлала. Мысль эта отошла на второй планъ, а на первомъ явилась другая. Лара спѣшною рукой накинула на себя пеньюаръ и, зайдя съ другой стороны къ косяку окна, за которымъ метался Гордановъ, тихо ослабила шнурокъ, удерживавшій занавѣску.

Штора сползла и подзоръ закрылся; но это Горданову только придало новую смѣлость, и онъ сначала тихо, а потомъ все смѣлѣй и смѣлѣй началъ потрогивать раму.

Дѣвушка не могла себѣ представить, до чего это можетъ дойти и, отступая внутрь комнаты, остановилась. Гордановъ не ослабѣвалъ, страсть и дерзость его разгорались: въ комнатѣ послышался даже гулъ его говора.

Лара опять метнулась къ двери, которая вела въ столовую, гдѣ спала тетка, и... съ незнакомымъ до сихъ поръ чувствомъ страстнаго замиранія сердца притворила эту дверь.

Ей пришло на мысль, что если она разбудить тетку, то та затѣть цѣлую исторію и цепремѣни станетъ обвинять ее въ томъ, что она сама подала поводъ къ этой наглости. Но Катерина Астафьевна спала крѣпкимъ сномъ, и хотя Лариса было перепугалась, когда дверь немножко щикнула на своихъ петляхъ, однако испугъ этотъ былъ совершенно напрасенъ. Лара приложила черезъ минуту ухо къ дверному створу и убѣдила, что тетка спить,—въ этомъ убѣждало ее сонное дыханіе Форовой. А Гордановъ не отставалъ въ этомъ и продолжалъ свои настойчивыя хлопоты вокругъ рамы.

— Этой дерзости нельзѧ же оставить такъ, да и, наконецъ, это дойдетъ Богъ знаетъ до чего: Катерина Астафьевна можетъ проснуться и... еще хуже: внизу, въ кухнѣ, можетъ все это услышать прислуга...

Она ощущила въ себѣ рѣшимость и силу самой отстоять свою неприкосновенность и подошла къ окну,—минута, и край шторы зашевелился.

Гордановъ опять качнуль раму.

Лариса положила трепещущую руку на крючокъ, и едва лишь его коснулась, какъ эта рама распахнулась, и рука Лары словно въ тискахъ замерла въ руки Горданова.

— Ты открыла, Лариса! я такъ этого и ждалъ: тебъ должна быть чужда пустая жеманность,—заговорилъ Павель Николаевичъ, страстно цѣля руку Лары.

— Я вовсе не для того...—начала было Лара, но Гордановъ ее перебилъ.

— Это все равно, я не могъ не видѣть тебя!.. прости меня!..

— Уйдите.

— Я обезумѣлъ отъ любви къ тебѣ, Лара! Твоя краса мутитъ мой разумъ!

— Уйдите, молю васъ, уйдите.

— Ты должна знать все... я иду умирать за тебя!

— За меня?!

— И я хотѣлъ тебя видѣть... я не могъ отказать себѣ въ этомъ... Дай же, дай мнѣ и другую твою ручку!—шепталъ онъ, хватая другую руку Лары и цѣлюя ихъ обѣ вмѣстѣ.—Нѣтъ; ты такъ прекрасна, ты такъ нескованно хороша, что я буду радъ умереть за тебя! Не рвись же, не вырывайся... Дай наглядѣться... теперь... вся въ бѣломъ, ты еще чудеснѣй... и... клини и презирай меня, но я не въ силахъ овладѣть собой: я рабъ твой, я... раненъ на-смерть... мнѣ все равно теперь!

Ларисѣ показалось, что на глазахъ его показались слезы: это ее подкупило.

— Пустите меня! настѣнно непремѣнно увидѣть... — чуть слышно прошептала Лара, въ страхѣ оборачивая лицо къ двери теткиной комнаты. Но лишь только она сдѣлала это движеніе, какъ, обхваченная рукой Горданова, уже очутилась на подоконникѣ и голова ея лежала на плечѣ Павла Николаевича. Гордановъ обнималъ ее и жарко цѣловалъ ея трепещущія губы, ея шею, плечи и глаза, на которыхъ дрожали и замирали слезы.

Лариса почти і. оборонялась: это ей было и не подъ силу; дѣлая усилия вырваться, она только плотнѣе падала въ объятія Горданова. Даже уста ся, теперь такъ рѣшительно желавшія издать какой-нибудь звукъ, лишь шевелились, невольно отвѣчая въ этомъ движеніи поцѣлюямъ замыкавшихъ ихъ усть Павла Николаевича. Лара склонилась все болѣе и болѣе на его сторону, смутно ощущая, что окно подъ неї уплываетъ къ ея ногамъ; еще одно мгновеніе, и она въ саду. Но въ эту минуту залаяла собака и по двору послышались шаги.

Гордановъ посадилъ Лару на подоконникъ и, тихо прикрывъ раму, пошелъ чрезъ садовую калитку на дворъ и ноймалъ здѣсь на крыльцѣ Висленева.

— Чего ты здѣсь, Павель Николаевичъ?—освѣдомился у него Іосафъ.

— Вотъ вопросъ! Какъ чего я здѣсь? Что же ты, любезный, вѣрио забылъ, чтѣ такое мы завтра дѣлаемъ?—отвѣчалъ Гордановъ.

— Нѣть, очень помню: мы завтра стрѣляемся.

— А если помнишь, такъ надо видѣть, что уже разсвѣтѣеть, а вѣ пять часовъ надо быть на мѣстѣ, котораго я, вдобавокъ, еще и не знаю.

— Я буду, Поль, буду, буду.

— Ну, извини, я тебѣ не вѣрю, а пойдемъ ночевать ко мнѣ. Теперь два часа и ложиться уже некогда, а напьемся чаю и тогда какъ разъ будетъ времяѣхатъ.

— Да; вотъ еще дѣло-то: на чёмъѣхатъ?

— Вотъ то-то оно и есть! А еще говоришь: «буду, буду, буду», и самъ не знаешь на чёмъѣхатъ! Переодѣнься, если хочешь, и идемъ ко мнѣ,—я уже припасъ извозчика.

Висленевъ пошелъ переодѣться; онъ притглашать взойти съ собою и Горданова, но тотъ отказался и сказалъ, что онъ лучшіе походить и подождѣть въ саду.

Лиши скрылся Висленевъ, Гордановъ подбѣжалъ къ Лариному окну и чуть только попробовалъ дверцу, какъ она сама тихо растворилась. Окно было не заперто, и Лара стояла у него вѣпрежнемъ положеній.

Гордановъ ступилъ ногой на фундаментъ и страстно прошепталъ:

— Поцѣлуй меня еще разъ, Лара.

Лариса молчала.

— Сама! Лара! я прошу, поцѣлуй меня сама! Ты мнѣ отказываешь?

Лара колебалась.

— Лара, исполни этотъ мой капризъ, и я исполню все, чего ты захочешь... Ты медлишь?.. Ты не хочешь?

На дворѣ послышался голосъ Висленева, призывающій Павла Николаевича.

— Идите... братъ мой,—прошептала Лара.

— Кто этотъ братъ? онъ во...

— О, Боже! не договаривайтс... Онъ идетъ.

— Ну, знай же: если такъ,—я не уйду безъ твоего поцѣлуя!

Лара въ страхѣ подвинулась къ нему и, робко прильнувъ къ его губамъ устами, кинулась назадъ въ комнату.

Гордановъ сорвалъ этотъ штосъ и исчезъ.

Когда кончилась процедура поцѣлуевъ, Лариса, какъ разоштая, обернулась назадъ и попятилась: предъ нею, въ дверяхъ, стояла совсѣмъ одѣтая Форова.

— Послушай!—говорила охриплымъ и упалымъ голосомъ майорша.—Послушай! запри за мной двери, или вели запереть.

— Куда это вы?—прошептала Лара.

— Домой.

— Зачѣмъ... зачѣмъ... вы всѣ...

— Не знаю, какъ всѣмъ, а мнѣ здѣсь не мѣсто.

И Форова повернулась и пошла. Лара ее догнала въ залѣ и, схвативъ тетку за руку, сама потушилась.

— Пусти меня!—проговорила Форова.

— Одну минутку еще!..

— Ни одной, ни одной секунды здѣсь быть не хочу, послѣ того, что я видѣла своими глазами.

Лара зарыдала.

— Такъ зачѣмъ же, зачѣмъ же вы... его при мнѣ брали, обижали? Боже! Боже!

— Вотъ такъ и есть! Мы же виноваты?

Но Лариса въ отвѣтъ на это только зарыдала истерическими рыданьемъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Въ ожиданіи смерти.

Форовъ провелъ эту ночь у Подозерова; майоръ какъ пришелъ, такъ и завалился и спать, храяя, до самаго утра, а Подозеровъ былъ не во снѣ и не въ бѣніи. Онъ лежалъ съ открытыми лазами и думалъ: за что, почему и какъ онъ идетъ на дуэль?

— Они обидѣли меня клеветой, но это бы я снесъ; но обиды бѣдной Ларѣ, но обиды этой другой святой женщины я снести не могу! Я, впрочемъ... съ большими удовольствіемъ умру, потому что стыдно сознаться, а я разочарованъ въ жизни; не вижу въ ней смысла и... однимъ словомъ, мнѣ все равно!

И вдругъ послѣ этого Подозеровъ погрузился въ сосредоточенную думу о томъ: какъ шла замужъ Синтиянина? и когда его въ три часа толкнулъ Форовъ, онъ не зналъ: спалъ онъ или не спалъ, и только почувствовалъ на лбу холодный капли пота.

Форовъ пилъ чай и самъ приготавлялъ и подавалъ чай хозяину.

— Теперь подите-ка вотъ сюда! — позвалъ его майоръ въ спальню. — Завѣщаніе у васъ про всякий случай готово? Я говорю, про всякий случай.

— Зачѣмъ? имущества у меня нѣтъ никакого,—а что есть, раздавайте бѣднымъ. — Подозеровъ улыбнулся и добавилъ: — Это тоже про всякий случай!

— Да, такъ, но все-таки... это дѣлаютъ: причину, можетъ-быть, пожелаете объяснить... изъ-за чего?.. Волю, желаніе свое кому-нибудь сообщить?...

— Изъ-за чего? А кому до этого дѣло? Если васъ спросятъ, изъ-за чего это было, то скажите, пожалуйста, что это ни до кого не касается.

— Что же, и такъ bene! И еще вотъ что, — продолжалъ онъ очень серьезно и съ разстановкой: — вы знаете... я принадлежу къ такъ глаголемымъ нигилистамъ, — не къ мошенникамъ, которые на эту кличку откликаются, а къ настоящимъ... старовѣрческимъ нигилистамъ древляго благочестія...

— Хорошъ-сь, — отвѣчалъ, снова улыбнувшись, Подозеровъ.

— То-то, еще хорошо ли это, я... этого, по правдѣ вамъ сказать, и самъ достовѣрно не знаю. Я, какъ настоящій нигилистъ, самъ свои убѣжденія тоже, знаете... не высоко ставлю. Чортъ ихъ знаетъ: кажется что-нибудь такъ, а... вѣдь все оно, можетъ-быть, и иначе... Я, разумѣется, въ жизнѣ за гробомъ не вѣрю и въ Бога не вѣрю... но...

— Вы вѣрно хотите, чтобъ я помолился Богу? — перебилъ Подозеровъ.

— Да; я этого особенно не хочу, а только напоминаю, — отвѣчалъ, крѣпко сжавъ его руку, майоръ. — Вы не смѣйтесь надъ этимъ, потому что... кто знаетъ, чего нельзя узнать.

— Да я и не смѣюсь: я очень радъ бы помолиться, но я тоже...

— Да; понимаю: вы деистъ, но не умѣете молиться... считаете это лишнимъ. Пожалуй!

— Но я по вашему совѣту пробѣгу одну-двѣ главы изъ Евангелія.

— И прекрасно, мой совѣтъ хоть это сдѣлать, потому что... я себѣ вѣренъ, я не считаю этого нужнымъ, но я это беру съ утилитарной точки зрењія: если тамъ ничего нѣть, такъ это пичему и не помѣшать... Кажется, не помѣшать?

— Разумѣется.

— А какъ если есть!.. Вѣдь это, какъ хотите, ошибиться не шутка. Подите-ка уединитесь.

И майоръ, направляя Подозерова въ его комнату, затворилъ за нимъ двери.

Когда они опять сошлись, Форовъ счелъ нужнымъ дать Подозерову нѣсколько наставлений, какъ стоять на поединкѣ, какъ стрѣлять и какъ держаться.

Подозеровъ все это слушалъ совершенно равнодушно.

Въ четыре часа они спохватились, на чемъ имъ вѣхать. Съ вечера эта статья была позабыта, теперь же ее нельзя было исправить.

Рискуя опоздать, они рѣшились немедленно отправиться пѣшкомъ и шли очень скоро. Утро стояло погожее, но не-пріятное: вѣтреное и красное.

Дорогой съ ними не случилось ничего особенного, только и майоръ, и Подозеровъ оба немножко устали.

Но вотъ завидѣлся и желтый, песчаный холмъ посреди молодого сосенника: это Корольковъ верхъ, это одно роковое условное мѣсто.

Форовъ оглянулся вокругъ и, снявъ фуражку, обтеръ платкомъ лобъ.

— Ихъ нѣть еще, значитъ?—спросилъ Подозеровъ.

— Да; ихъ, значитъ, нѣть. Вы сядьте и поотдохните немножко.

— Нѣть, я ничего... я совсѣмъ не усталъ.

— Не говорите! переходы въ этихъ случаяхъ ужасно не хороши: отъ ходьбы ноги слабѣютъ и руки трясутся и въ глазу нѣть вѣриности. И еще я вамъ вотъ что хотѣть сказать... это, разумѣется, можетъ-быть, и не нужно, да я даже и увѣренъ, что это не нужно, но про всякий случай...

— Пожалуйста: что такое?

— Когда вы молились...

— Ну-съ?

— Указали ли вы надлежашимъ образомъ, что вѣдь то... зачѣмъ вы пришли сюда, неправосудно будетъ разматривать паравнѣ съ убийствомъ? Вѣдь вотъ и пророки, и мученики... за идею... умирали и...

— Да зачѣмъ же это указывать? Поставить на видъ, что ли?—И Подозеровъ даже искренно разсмѣялся.

Форовъ подумалъ и отвѣчалъ:

— Да вѣдь я не знаю, какъ это надо молиться, или... мириться съ тѣмъ, чего не знаю.

— Нѣть: вы это знаете лучшіе многихъ!—проговорилъ Подозеровъ, дружески сжавъ руку майора.—Я не могу представить себѣ человѣка, который бы лучше васъ умѣлъ доказать, что хорошая натура всегда остается хорошей, во всякой средѣ и при всякомъ учениі.

— Ну, извините меня, а я очень могу себѣ представить такого человѣка, который можетъ все это гораздо лучше меня доказать.

— Кто же это?

— Дѣвица Ванскоѣ въ Петербургѣ. А вотъ кто-то и ѳдетъ.

За лѣскомъ тихо зарокотали колеса: это подѣхали Висленевъ и Гордановъ.

Обѣ пары пошли, въ пѣкоторомъ другъ отъ друга разстояніи, къ одной и той же песчаной полянѣ за кустами.

Форовъ пригласилъ Висленева въ сторону, и они начали заряжать пистолеты, то-есть, лучше сказать, заряжалъ ихъ Форовъ, а Висленевъ ему прислуживалъ. Онъ не умѣлъ обращаться съ оружиемъ и притомъ праздновалъ трусу.

Подозеровъ глядѣлъ на песокъ и думалъ, что кровь здѣсь будетъ очень быстро впитываться. Гордановъ держалъ себя сколомъ.

Форовъ съ важностью должностного лица началъ отсчитывать шаги, и затѣмъ Подозеровъ и Гордановъ были поставлены имъ на урочномъ разстояніи лицомъ другъ къ другу.

Дерзкій взглядъ и нахальная осанка не покидали Горданова.

«Это чортъ знаетъ что!—думалъ Форовъ.—Знаю, увѣренъ и не сомнѣваюсь, что онъ естественный и презрѣнійный

трусь, ио что можетъ запачить это его спокойствіе? Нѣть ли на немъ лать? Да не на всемъ же на немъ латы! Или... не извѣстили ли они, бездѣльники, сами полицію и не поведутъ ли насъ всѣхъ отсюда на съѣзжую? Чего доброго: отъ этой дряни всего можно ожидать».

Но Форовъ не все предугадывалъ и ожидалъ совсѣмъ не того, на что разсчитывалъ, держа высоко свою голову, Гордановъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Секретъ.

Александра Ивановна, выпроводивъ гостей, видѣла, какъ работникъ заперъ калитку, поманилъ за собою собакъ и ушелъ спать на погребицу.

Синтянина подошла къ окну и глядѣла черезъ невысокій тынъ на широкія поля, на которыхъ луна теперь выдвигала прихотливыя очертанія тѣней отъ самыхъ незначительныхъ предметовъ на землѣ и мелкихъ облачковъ, бѣгущихъ по небу.

Вѣра сняла дневное платье, надѣла свою бѣлую блузку, заперла дверь, опустила бѣлые шторы на окнахъ, въ которыхъ свѣтила луна, и, стоя съ лампой посреди комнаты, громко топнула.

Синтянина оглянулась.

— Ты не будешь спать? — спросила Вѣра своими знаками мачиху.

— Нѣть; мнѣ не хочется спать.

— Да; ты и не спи.

— Зачѣмъ?

Дѣвочка улыбнулась и отвѣчала: «Такъ... теперь хорошо», и съ этимъ она вошла въ спальню, легла на свой диванъ подъ материнымъ портретомъ, завѣшеннымъ кисеей, и погасила лампу.

Это Александрѣ Ивановнѣ не понравилось, тѣмъ болѣе, что вслѣдъ затѣмъ, какъ погасъ огонь, въ спальне послышался тихій шорохъ и при слабомъ свѣтѣ луны, сквозь опущенную штору, было замѣтно какое-то непокойное движеніе Вѣры вдоль стѣны подъ портретомъ ея матери.

Александра Ивановна съ неудовольствіемъ зажгла свѣчу и вошла въ спальню. Вѣра лежала на своемъ месть и

казалось спала, но сквозь сонъ тихо улыбалась. У нея бывалъ нерѣдко особый родъ улыбокъ, добрыхъ, но ироническихъ, которыхъ нѣсколько напоминали улыбки опытной няни, любящей ребенка и насыщающейся надѣй нимъ. Александра Ивановна въ теченіе многихъ лѣтъ жизни съ глухонѣмою падчерицей никогда не могла привыкнуть къ ѣтимъ ея особыннымъ улыбкамъ, и онѣ особенно непріятно подѣйствовали на нее сегодня, послѣ шалости Вѣры въ осинникѣ. Генеральша давно была очень разстроена всѣмъ, что видѣла и слышала въ послѣднее время; а сегодня ее особенно тяготили наглые намеки на ея практичность и на ся давнюю слабость къ Висленеву, и старыя раны въ ея сердцѣ заныли и запѣнились свѣжею кровью.

— Нѣть; этого невозможно такъ оставить: я могу умереть внезапно, мгновенно, со всею тяжестью этихъ укоризнъ... Нѣть; этого нельзя! Пока я жива, пускай говорить и думаютъ обо мнѣ чтѣ хотятъ, но память моя... она должна быть чиста отъ тѣхъ пятенъ, которыхъ кладутъ на нее и которыхъ я не хочу и не могу снять при жизни. Зачѣмъ откладывать вдалъ? Я теперь взволнована, и все давно минувшее предо мною встаетъ свѣжо, какъ будто всѣ бѣды жизни ударили въ меня только сю минуту. Я все чувствую, все помню, вижу, знаю, и теперь я въ силахъ передать все, чтѣ и зачѣмъ я когда сдѣлала. Стало-быть, насталъ часъ, когда мнѣ надо открыть это, и Гордановъ принесъ мнѣ пользу, заставивъ меня за это взяться.

Съ ѣтимъ генеральша торопливо перемѣнила за ширмой платье на блузу и, распустивъ по спинѣ свои тучныя косы, зажгла лампу. Установивъ огонь на столѣ, она достала бумагу и начала писать среди нерушимаго ночного молчанія.

«Призывать Всемогущаго Бога, Которому вѣрую и суда Котораго несомнѣнно ожидаю, я, Александра Синтиппина, рожденная Гриневичъ, пожелала и рѣшилась собственно-ручно написать нижеслѣдующую мою исповѣсть. Дѣлаю это съ тою дѣлію, чтобы бумага эта была вскрыта, когда не будетъ на свѣтѣ меня и другихъ лицъ, которыхъ я должна коснуться въ этихъ строкахъ: пусть эти строки мои представятъ мои дѣла въ истинномъ ихъ свѣтѣ, а не въ томъ, въ какомъ ихъ толковали всѣ знающие меня при жизни.

«Я, незамѣтная и неизвѣстная женщина, попала подъ колесо обстоятельствъ, накатившихъ на мое отечество въ

началъ шестидесятыхъ годовъ, которымъ принадлежить моя первая молодость. Безъ всякаго призванія къ политицѣ, я принуждена была сыграть роль въ событияхъ политического характера, о чёмъ, кромѣ меня, знаетъ только еще одинъ человѣкъ, но этотъ человѣкъ никогда обѣ этомъ не скажетъ. Я же не хочу умереть, не раскрывъ моей повѣсти, потому что человѣку, какъ бы онъ ни былъ малъ и незамѣтенъ, дорога чистота его репутаціи.

«По всеобщему мнѣнію знающихъ меня людей, я по-зорно сторговала собою при моемъ замужествѣ и погубила моимъ вѣроломствомъ человѣка, подававшаго нѣкогда большия надежды. Это—клевета, а дѣло было вотъ какъ. Я съ дѣтскихъ почти лѣтъ считалась невѣстой Іосафа Платоновича Висленева, котораго любила первою дѣтскою любовью. Онъ, по его словамъ, тоже любилъ меня, чemu я, впрочемъ, имѣю основанія не вѣрить. И вотъ ему-то я и измѣнила, клинула его въ несчастіи, вышла замужъ за генерала и провожу *счастливую жизнь...* Такъ думаютъ всѣ, и я въ этомъ никого не разувѣряю, однакоже, все-таки, это не такъ. Въ самой ранней нашей юности, между нами съ Висленевымъ обнаружились непримиимыя и несогласимыя разности во взглядахъ и симпатіяхъ: то время, которое я отдавала приготовлению къ жизни, онъ уже посвящалъ самой жизни, то жизни не той, которую я считала достойною силъ и мужества отвѣщающаго за себя человѣка. Въ немъ была бездна легкомысленности, которую онъ считалъ въ себѣ за отвагу; много задора, принимавшагося имъ за энергию; масса суетности, которая казалась ему пренебреженiemъ къ благамъ жизни, и при всемъ этомъ полное пренебреженіе къ спокойствію и счастью ближнихъ. Я все это замѣтила въ немъ очень рано и знала гораздо ближе всѣхъ стороннихъ людей, которыхъ Висленевъ могъ обманывать шумомъ и діалектикой; но, узнавъ и изучивъ его пороки, я все-таки никогда не думала отъ него отрекаться. Я знала, что я не могу ожидать истиннаго счастья съ такимъ человѣкомъ, который чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе научался и привыкалъ относиться съ непростительнымъ, легкомысленнымъ неуваженіемъ ко всему, къ чemu человѣку внушаются почтеніе самою егоатурой. Я видѣла, что мы съ нимъ не можемъ составить пары людей, которые могли бы восполнять другъ друга и служить одинъ другому опорой въ неудачахъ и несчастіяхъ.

Мы ко всему относились розно, начиная съ нашихъ ближайшихъ родныхъ и кончая родиной. Но, тѣмъ не менѣе, я любила этого несчастнаго молодого человѣка и не только готовилась, но и хотѣла быть его женой, въ чемъ свидѣтельствуюсь Богомъ, Которому видима моя совѣсть. Я познала мою жизнь па то, чтобы беречь его отъ его печальныхъ увлеченій; я знала, что во мнѣ есть своя доля твердости и терпѣнія, съ которыми можно взяться преодолѣть шероховатости довольно дурной натуры. Но, увы! у того, о комъ я говорю, не было никакой натуры. Это былъ первый видимый мною человѣкъ довольно распространенного нынче типа несчастныхъ людей, считающихъ необходимостью быть причисленными къ чему-нибудь новому, модному, и не заключающими сами въ себѣ ничего. Это люди, у которыхъ безнокойное воображение одолѣло умъ и замѣнило чувства. Помочь имъ, удерживать ихъ и регулировать нельзя: они уносятся какъ дымъ, таютъ какъ облако, выскользаютъ какъ мокре мыло. Женщины нельзѧ быть ни ихъ подругой, ни искать въ нихъ опоры, а для меня было необходимо и то, и другое; я всегда любила и уважала семью. Виследевъ окончилъ курсъ, приѣхалъ домой, поступилъ на службу и медлилъ на мнѣ жениться, я не знаю почему. Я полагаю, что я ему въ то время разнравилась за мою простоту, которую онъ счелъ за безсодержательность,—я имѣю основаніе такъ думать, потому что онъ не упускалъ случая отзываться съ ироніей, а иногда и прямо съ презрѣніемъ о женщинахъ такого простого образа мыслей, каковъ былъ мой, и такихъ скромныхъ намѣреній, каковы были мои, возникшія въ семье простой и честной, дружной, любящей, но въ самомъ дѣлѣ, можетъ-быть, черезчуръ неинтересной. Его идеаломъ въ то время были женщины другого, мнѣ вовсе неизвѣстнаго, но и незавиднаго для меня мірка. Онъ съ жаромъ говорилъ о покинутыхъ имъ въ Петербургѣ женщинахъ, презирающихъ бракъ, ненавидящихъ домашнія обязанности, издѣвающихъ надъ любовью, вѣрностью и ревностью, не переносящихъ родственныхъ связей, говорящихъ только о «войросахъ» и занятыхъ общественнымъ трудомъ, школами и обновлениемъ свѣта на необыкновенныхъ началахъ. Мнѣ все это представлялось очень смутно: я Петербурга никогда не видала, о жизни петербургской знала только по наслышкѣ да изъ книгъ; но я знала, что, если есть такія

женщины, которыми бредилъ Висленевъ, то именно въ средѣ ихъ только и можетъ быть отыскана та или тѣ, которыхъ могли бы слиться съ нимъ во что-нибудь гармоническое. Я обдумала это, и найдя, что я ему по всему не пара, что я ему скорѣе помѣха, чѣмъ помопѣца, рѣшила предоставить наши отношенія судьбѣ и времени. Не скажу, чтобы это мнѣ было особенно тѣжко, потому что любовь моя къ нему въ это время была уже сильно поколеблена и притуплена холднымъ резонерствомъ, которымъ оғь обдавалъ мои горячіе порывы къ нему въ письмахъ. Потомъ онъ мнѣ сказалъ однажды, что, по его мнѣнію, «истинна только та любовь, которая не захватываетъ предметъ своей привязанности въ исключительное обладаніе себѣ, но предоставляетъ ему всю ширь счастья въ свободѣ». Послѣ этихъ словъ, которыхъ я поняла во всей ихъ безнатурности и цинизмѣ, со мною произошло нечто странное: они возбудили во мнѣ чувство... неодолимой гадливости,—человѣкъ этотъ точно отталъ отъ моего сердца и уже болѣе никогда къ нему не приближался, хотя, тѣмъ не менѣе, я бы все-таки пошла за него замужъ, потому что я его безмѣрно жалѣла. Но Богъ рѣшилъ иначе. Онъ судилъ мнѣ другую долю и въ ней иныхъ испытаній.

«Вращаясь въ кружкѣ тревожныхъ и беспристальныхъ людей, Висленевъ попалъ въ исторію, которую тогда называли политическою, хотя я убѣждена, что ее не слѣдовало такъ называть, потому что это была не болѣе какъ ребяческая глупость и по замыслу, и по способамъ осуществленія; но, къ сожалѣнію, къ этому относились съ серьезностью, для которой безъ всякаго труда можно было указать очень много гораздо лучшихъ и достойнѣйшихъ назначеній. Іосафѣтъ Висленевъ былъ взятъ, и въ бумагахъ его былъ отысканъ дерзостнѣйший планъ, за который автора, по справедливости, можно было бы посадить, если не въ сумасшедшій, то въ смирительный домъ; но, что всего хуже, при этомъ планѣ былъ длинный списокъ лицъ, имѣвшихъ неосторожность довѣряться моему легкомысленному жениху. Мой отецъ былъ возмущенъ этимъ до глубины души, и въ то время, какъ Іосафѣтъ Висленевъ, въ качествѣ политического арестанта, пользовался въ городѣ почти общимъ счувствіемъ, у насъ въ домѣ его строго осуждали, и я признавала эти осужденія правильными.

«Легкомысленность, составляющая недостатокъ человѣка,

иока онъ вредить ею только самому себѣ, становится тяжкимъ преступлениемъ, когда за нее страждутъ другіе. Таково было мнѣніе моего умнаго и честнаго отца, таковы же были и мои убѣжденія, и потому мы къ этому отнеслись иначе, чѣмъ многіе.

«Дѣло Висленева было въ нашихъ глазахъ ничтожно по его несбыточности; но онъ, конечно, долженъ быть знать, что его будуть судить не по несбыточности, а по достоинству его намѣреній, и, несмотря на то, онъ игралъ не только репутацией, но даже судьбой лицъ, имѣвшихъ необдуманность раздѣлять его вѣтреные планы и неосторожность ввѣрить ему свои имена. Онъ погибалъ не одинъ, но предавалъ съ собою другихъ такихъ же, какъ онъ, молодыхъ людей, въ которыхъ гибли лучшія надежды несчастныхъ отцовъ, матерей, сестеръ и мнѣ подобныхъ невѣсть. Отецъ мой пользовался нѣкоторымъ довѣріемъ и расположениемъ генерала Синтиянина, который жилъ съ нами на одномъ дворѣ и сватался однажды ко мнѣ во время видимаго охлажденія ко мнѣ Висленева, но получилъ отказъ. Дѣло во многомъ отъ него зависѣло. Я это знала и... мнѣ вдругъ пришла мысль... но, впрочемъ, буду рассказывать по порядку.

«Быть страшнѣй, вѣчно живой и незабвенныи для меня вечеръ, когда мы, вскорѣ послѣ ареста Висленева, говорили съ моимъ отцомъ обѣ этомъ дѣлѣ. Солидный и честный отецъ мой былъ очень взволнованъ, онъ не запрещалъ мнѣ и теперь выйти за Висленева, но онъ не скрывалъ, что не хотѣлъ бы этого. Онъ говорилъ, что это человѣкъ съ преступнымъ, ничего не щадящимъ легкомыслѣемъ, и я въ глубинѣ души съ нимъ согласилась, что женщина нечего дѣлать съ такимъ человѣкомъ. Можетъ-быть, это было нѣсколько преувеличено, но вѣчная безнатурность Висленева, сквозь которую, какъ конѣ сквозь тѣнь, пропикиали всѣ просьбы, убѣжденія и уроки прошлаго, внушала мнѣ чувство страшной безнадежности. Если бъ онъ былъ подверженъ самимъ грубымъ страстямъ и порокамъ, я бы ихъ такъ не страшилась; если бъ онъ былъ жестокъ, я бы надѣялась смягчить его; если бъ онъ былъ корыстолюбивъ, я бы уповаала подавить въ немъ эту страсть; если бъ онъ имѣлъ позорныя пристрастія къ вину или къ картамъ, я бы старалась заставить его ихъ возненавидѣть; если бъ онъ былъ развратенъ, я бы надѣялась устыдить его; но у него не было брошено

якоря ни во что; онъ тянулся за вѣяніями, его сфера была разладъ, его натура была безнатурность, его характеръ былъ безхарактерность. Его могло пересоздать одно: большое горе, способное вдругъ поднять со дна его души давно недѣйствующія силы. Вся жизнь моя явилась предо мной какъ бы въ одио чашѣ, которую я должна была или бережно донести и выпить на положенномъ мѣстѣ, или расплескать по сорному пути. Я вдругъ перестала быть дѣвушкой, жившую въ своихъ мечтахъ и думахъ, и почувствовала себя женщиной, которой нѣчто дано и съ которой, по вѣрѣ моей, нѣчто спросится за гробомъ. (Я всегда вѣрила и вѣрую въ Бога просто, какъ велитъ церковь, и благословляю Провидѣніе за эту вѣру). Внутренний голосъ отвѣчалъ за меня отцу моему, что мнѣ нельзя быть женой Висленева. Внутренний же голосъ (я не могу думать иначе), изъ устъ моего отца, сказалъ мнѣ путь, которымъ я должна была идти, чтобы чѣмъ-нибудь облегчить судьбу того, кото-раго я все-таки жалѣла.

«Отецъ благословилъ меня на страданія ради избавленія несчастныхъ, выданныхъ монимъ женихомъ. Это было такъ. Онъ сказалъ: «Не я научу тебя покинуть человѣка въ несчастіи, ты можешь идти за Висленевымъ, но этимъ ты не спасешь его совѣсти и людей, которые ради его гибнутъ. Если ты жалѣешь его — пожалѣй ихъ; если ты женщина и христіанка, поди спаси ихъ, и я... не стану тебя удерживать: я самъ, моими старыми руками, благословляю тебя, и скрой это, и Богъ тебя тогда благословитъ».

«Отецъ не зналъ, въ какія роковыя минуты нравственной борьбы онъ говорилъ мнѣ эти слова, или онъ зналъ болѣе, чѣмъ дано знать нашему чувственному вѣданію. Онъ рисовалъ мнѣ картину бѣдствій и отчаянія семействъ тѣхъ, кого губилъ Висленевъ, и эта картина во всемъ ея ужасѣ огненными чертами напечатлѣлась въ душѣ моей; сердце мое преисполнилось сжимающей жалостью, какой я никогда ни къ кому не ощущала до этой минуты,—жалостью, предъ которою я сама и собственная жизнь моя не стоили въ моихъ глазахъ никакого вниманія, и жажда дѣла, жажда спасенія этихъ людей заклокотала въ душѣ моей съ такою силой, что я цѣлые сутки не могла имѣть никакихъ другихъ думъ, кроме одной: спасти людей ради ихъ самихъ,

ради тѣхъ, кому они дороги, и ради его, совѣсть котораго когда-нибудь будетъ пробуждена къ тяжелому отвѣту. Въ душѣ моей я чувствовала Бога: я никогда не была такъ счастлива, какъ въ эти вѣчно памятныя мнѣ минуты, и уже не могла позволить совершиться грозившему несчастью, не употребивъ всѣхъ силъ отвратить его. Тогда я впервые почувствовала, что на мой счетъ заблуждались всѣ, считая меня спокойною и самообладающею; тутъ я увидала, что въ глубинѣ моей души есть лава, которой мнѣ не сдержать, если она вскипитъ и расколышется. Я должна была идти спасать ихъ, чужихъ мнѣ по убѣжденіямъ и вовсе мнѣ незнакомыхъ людей: въ этомъ мнѣ показалось *мое призваніе*. Онъ самъ въ своихъ разговорахъ не разъ указывалъ мнѣ путь къ такому служенію, онъ говорилъ о женщинахъ, которыхъ готовы были отдавать себя самихъ за избранное ими дѣло, а теперь средства къ такому служенію были въ моихъ рукахъ. Я уже сказала, что генераль Синтянинъ, нынѣшній мужъ мой, отъ котораго зависѣло все или, по крайней мѣрѣ, очень многое для этихъ несчастныхъ, искалъ руки моей, и послѣ моего отказа въ ней мстилъ отцу моему. Я была очень недурна собою: мою голову срисовывали художники для своихъ картинъ; известный скульпторъ, проѣздомъ чрезъ нашъ городъ, упростили моего отца дозволить ему слѣпить мою руку. Я была очень стройна, свѣжа, имѣла превосходный цвѣтъ лица, веселые большие голубые глаза и свѣтло-золотистые волосы, доходившіе до моихъ колѣнъ. Души моей генераль не зналъ, и я понимала, что я противъ воли моей вpushала ему только одну страсть. Это было ужасно, но я рѣшила воспользоваться этимъ, чтобы совершить мой подвигъ. (Я называю его подвигомъ потому, что генераль Синтянинъ внушалъ мнѣ не только отвращеніе, которое, можетъ-быть, понятно лишь женщинѣ, но онъ возбуждалъ во мнѣ ужасъ, раздѣлявшися въ то время всѣми знавшими этого человѣка. Онъ былъ вдовъ, и смерть жены его, по общѣй молвѣ, лежала на его совѣсти). Молодая душа моя возмущалась при одной мысли соединить жизнь мою съ жизнью этого человѣка, но я на это рѣшилась... Предо мной стоялъ Христосъ съ Его великой жертвой, и смятенія мои углегались. Я много молилась о дарованіи мнѣ силы, и она была мнѣ ииспослана.

«Утромъ одного дня, отстоявъ раннюю обѣднюю въ однокомъ храмѣ, я вошла въ домъ генерала, и тутъ со мною случилось даже нечто чудесное. Чуть я отворила дверь, вся моя робость и всѣ сомнѣнія мои исчезли; въ груди моей забилось сто сердецъ; я чувствовала, какъ множество незримыхъ рукъ подхватили меня и несли, какъ бы пригибая и сглаживая подъ ногами моими ступени лѣстницы, которою я всходила. Экзальтациѣ моя достигала высочайшей степени: я действительно опущала, что меня поддерживаютъ и мною руководятъ извѣснѣ какія-то невидимыя силы. Ни моя молодость и неопытность, ни прямота моей натуры и большое мое довѣріе къ людямъ, ничто не позволяло мнѣ разсчитывать, что я поведу дѣло такъ ловко, какъ я повела его. Когда я перечитываю библейскую повѣсть о подвигѣ жены изъ Витули, мнѣ, конечно, странно ставить себя, тогдашнюю маленькую дѣвочку, возлѣ этой библейской красавицы въ парчѣ и виссонѣ; но я, какъ и она, не забыла даже одѣться къ лицу. Не забываю никакихъ мелочей изъ моихъ экзальтаций этого дня: мнѣ всегда шло все черное, и я приняла это въ расчетъ: я была въ черномъ мериносовомъ платьѣ и черной шляпкѣ, которая оттѣняла мои свѣтлорусые волосы и давала мнѣ видъ очень красиваго ребенка, но ребенка настойчиваго, своенравнаго и твердаго, не съ дѣтскою силой.

«Я приступила къ дѣлу прямо. Оставшись паединѣ съ Синтианинымъ, я предложила ему купить мое согласіе на бракъ съ нимъ добрымъ дѣломъ, которое заключалось въ облегченіи судьбы Висленева и его участниковъ. Я отдавала все, что было у меня, всю жизнь мою, съ обѣтомъ не нарушить слова и вѣрною дойти до гроба; но я требовала многаго, и я теперь еще не знаю, почему я безъ всякихъ опытныхъ совѣтовъ требовала тогда именно того самаго, что было нужно. Я повторяю, что тамъ была не я: въ моей груди кипѣла сотня жизней и билось сто сердецъ, вокругъ меня кипѣлъ какой-то рой чего-то страннаго, меня учили говорить, меня сажали, поднимали, шептали въ уши мнѣ какія-то слова, и въ этомъ чудномъ хаосѣ была, однако, стройность, благодаря которой я все уладила. Остановить дѣло было невозможно, это уже было не во власти Синтиания, но я хотѣла, чтобы поступки и

характеръ Висленева получили свое настоящее определеніе, чтобы источникомъ его безразсудныхъ дѣлъ было признано его легкомысліе, а не злонамѣренность, и чтобы мнѣ были вручены и при мнѣ уничтожены важнѣйшія изъ компрометировавшихъ его писемъ, а главное, списки лицъ, писанные его рукой. Я не уступала изъ этого ничего; я вела торгъ съ таکтомъ, который не перестаетъ изумлять меня и понынѣ. Я была тверда, осторожна и неуступчива, и я выторговала все. Мнѣ помогали моя тогдашняя миловидность и свѣжесть и оригинальность моего положенія, сдѣлавшая на Синтиянину очень сильное впечатлѣніе. Ему именно хотѣлось купить себѣ жену, и онъ купилъ у меня мою руку тою цѣной, какой я хотѣла: любуясь мною, онъ далъ мнѣ самой выбрать изъ груды взятыхъ у Висленева бумагъ все, что я призывала наиболѣе компрометирующими его и другихъ, и я въ этомъ случаѣ снова обнаружила опытность и осторожность, которую не знаю чому приписать. Все это было сожжено... по сожжено вмѣстѣ съ моей свободой и счастьемъ, которыми я спалила на этомъ огнѣ.

«Я дала слово Синтиянину выйти за него замужъ, и сдержала это слово: въ тотъ день, когда было получено свѣдѣніе объ облегченіи участіи Висленева, я была обвѣнчана съ генераломъ, при всеобщемъ удивленіи города и даже самихъ монхъ добрыхъ родителей. Это былъ мой первый опытъ скрыть отъ всѣхъ настоящую причину того, что я сдѣлала по побужденіямъ, можетъ-быть, слишкомъ восторженнымъ и, пожалуй, для кого-нибудь и смѣшнымъ, но, надѣюсь, во всякомъ случаѣ не предосудительнымъ и чистымъ. Принесла ли я этимъ пользу и поступила ли осмотрительно и честно, пусть обѣ эти судить Богъ и тѣ люди, которымъ жизнь моя будетъ известна во всей ея истинѣ, какъ я ее нынче исповѣдую, помышляя день смертный и день странного суда, на которомъ обнажатся всѣ совѣсти и обнаружатся всѣ помышленія. Я поступала по разумѣнію моему и неотразимому влечению тѣхъ чувствъ, которымъ я повиновалась. Долго размышлять мнѣ было некогда, а совѣтоваться не съ кѣмъ, и я спасла какъ умѣла и какъ могла людей, мнѣ чуждыихъ. Болѣе я не скажу ничего въ мое оправданіе, и пусть Всеблагой Богъ да проститъ всѣмъ злословящимъ меня людямъ ихъ клев-

веты, которыми они осыпали меня, изъясняя поступокъ мой побужденіями сущности и корыстолюбія.

«Случай, устроившій странную судьбу мою, быть-можеть, совершенно исключительный, но полоса смятсій на Руси еще далеко не прошла: она, можетъ-быть, только едва въ началѣ, и къ тому времени, когда эти строки могутъ попасть въ руки молодой русской дѣвушки, готовящейся быть подругой и матерью, для нея могутъ потребоваться иные жертвы, болѣе серьезныя и тѣгостныя, чѣмъ моя скромная и безвѣстная жертва: такой дѣвушкѣ я хотѣла бы сказать два слова, ободряющія и укрѣпляющія силой моего примѣра. Я хочу сказать, что страшныхъ и непереносимыхъ жертвъ нѣтъ, когда несешь ихъ съ сознаниемъ исполненаго долга. Несмотря на тяжелый во многихъ отношеніяхъ путь, на который я ступила, я никогда не чувствовала себя на немъ несчастною свыше мопхъ силъ. Въ пожертвованіи себя благу другихъ есть такое неописанное счастіе, которое дарить спокойствіе среди всѣхъ нравственныхъ нытокъ и мученій. А каждое усиліе надъ собою даетъ душѣ новыя силы, которымъ наконецъ самъ удивляешься. Пусть мнѣ въ этомъ повѣрять. Я опытомъ убѣждена и свидѣтельствую, что человѣкъ, разъ твердо и не-преклонно рѣшившійся восторжествовать надъ своею земною природой и ея слабостями, получастъ неожиданную помощь оттуда, откуда онъ ждалъ ея, и помощь эта бываетъ велика и могучая, и при ней душа крѣпнѣтъ и закаляется до того, что ей уже нѣтъ страховъ и смятсій. Жизнь моя прошла не безъ тревогъ. Я отдала мужу моему все, что могла отдать, кромѣ того, чего у меня для него не было: я всегда была вѣрна ему, всегда заботилась о домѣ, о его дочери и его собственномъ покоѣ, но я никогда не любила его и, къ сожалѣнію, я не всегда могла скрыть это. Пастолько душа и воля всегда оказывались безвластными надъ мою натурой. Въ первые годы моего замужества это было поводомъ къ болѣшимъ непріятностямъ и сценамъ, изъ которыхъ одна угрожала трагической развязкой. Мужъ, присыпавъ мою къ нему холодность другому чувству, угрожалъ заструйить меня. Это было зимой, вечеромъ; мы были одни при запертыхъ окнахъ и дверяхъ,—спастись мнѣ было невозможно, да я, впрочемъ, и сама не захотѣла спасаться. Жизнь никогда не казалась мнѣ особенно дорогою и милою,

а тогда она потеряла для меня всякую цѣну, и я встрѣтила бы смерть, какъ высочайшее благо. Желаніе окончить съ моимъ существованіемъ минутами было во мнѣ такъ сильно, что я даже рада была бы смерти, и потому, когда мужъ хотѣлъ убить меня, я, не укрощая его бѣшенства, скрестила на груди руки и стала предъ пистолетомъ, который онъ взялъ въ своею азартѣ. Но въ это мгновеніе изъ двери вырвалась моя глухонѣмая падчерица Вѣра и, заслонивъ грудь мою своею головой, издала столь страшный и непонятный звукъ, что отецъ ся выронилъ изъ рукъ пистолетъ и, упавъ предо мною на колѣни, началъ просить меня о прощеніи. Съ тѣхъ поръ я свободна отъ всякихъ упрековъ и не встрѣчала ничего, за что могла бы жаловаться на судьбу мою. Я любима людьми, которыхъ люблю сама; я пользуюсь не только полнымъ довѣріемъ, но и полнымъ уваженіемъ моего мужа и, несмотря на клеветы насчетъ причинъ моего выхода за Синтянина, теперь я почти счастлива... Я была бы почти счастлива, совершая долгъ свой, если бы... я могла *уважать* моего мужа. Людскія укоризны меня порой тяготятъ, но не надолго. Постъ говорить: «кто все перевѣдалъ, тотъ все людямъ простиль». Живя на свѣтѣ, я убѣдилась, что я была не права, считая безнатуральнымъ одного Висленева; предо мною вскрылись съ этой же стороны очень много людей, за которыхъ мнѣ приходилось краснѣть. Все надо простить, все надо простить, иначе нельзя найти мира со своей совѣстью. Тайны моей не знаетъ никто, кроме моего мужа, но къ разгадкѣ ся иѣсколько приближались мать Висленева и другъ мой Катерина Форова: онъ рѣшили, что я вышла замужъ за Синтянина изъ-за того, чтобы спасти Висленева!.. Бѣдные друзья мои! Онъ считаются это возможнымъ и онъ думаютъ, что я могла бы это сдѣлать! Онъ полагаютъ, что я не поняла бы, что такою жертвой нельзя спасти человѣка, если онъ дѣйствительно любить и любиль, а напротивъ, можно только погубить его и уронить себя! Нѣть, если бы дѣло шло о немъ однѣмъ, я скорѣе бы понесла за нимъ его арестантскую сумму, но не разбила бы его сердца! Какая Сибирь и какая каторга можетъ сравниться съ горемъ измѣнѣ? Какая муки тяжелѣе и ужаснѣе нестерпимыхъ мученій ревности? Я знаю эту змѣю... Нѣть! Я отдала себя ~~за~~ людѣй, которыхъ я никогда не знала и которые никогда

не узнаютъ о моемъ существоваліи. Виследеву не принадлежитъ болѣе ни одной капли моей любви: я полна къ нему только одного сожалѣнія, какъ къ падшему человѣку. Онъ не любилъ меня, онъ уступалъ меня свободѣ, и я потеряла любовь къ нему за это оскорбленіе! Эта уступка меня моей свободѣ вычеркнула его изъ моего сердца разъ и навсегда и безъ возврата. Скажу болѣе: ревность мужа я вспоминаю гораздо спокойнѣе, чѣмъ эту постыдную любовь. Я чувствую и знаю, что могла снести всѣ оскорблѣнія лично мнѣ, но не могла стерпѣть оскорблѣній моего чувства. Это дѣло выше моихъ силъ. Затѣмъ обязательства вѣрности моему мужу я несу и, конечно, донесу до гроба ненарушимыми, хотя судѣбѣ было угодно и здѣсь послать мнѣ тяжкое испытаніе: я встрѣтила человѣка, достойнаго самой пѣнной привязанности, и... противъ всѣхъ моихъ усилий, я давно люблю его. Это случилось, повторяю, противъ моей воли, моихъ желаній и усилий не питать къ нему ничего исключительнаго, но... Богъ милосердъ: онъ любить другую, годы мои уже уходятъ, и я усерднѣе всѣхъ помогаю любви его къ другой женщинѣ. Все нарушеніе обѣта, даннаго мною моему мужу, заключается въ одномъ, и я этого не скрою: во мнѣ... съ той роковой поры, какъ я люблю... живѣть неодолимое упованіе, что этотъ человѣкъ будетъ мой, а я его... Я гоню отъ себя эту мысль, но она, какъ тѣнь моя, со мной неразлучна, но я дѣлаю все, чтобы ей не было возлѣ меня мѣста. О томъ, что я люблю его, онъ не знаетъ ничего и никогда ничего не узнаетъ».

Въ эту минуту Вѣра во снѣ разсмѣялась и за стѣной какъ бы снова послышалася шорохъ.

Александра Ивановна вздрогнула, но тотчасъ же оправилась, подписала свое писанье, запечатала его въ большій конвертъ и надписала:

«Духовный отецъ мой, священникъ Евангель Минервінъ, возьметъ этотъ конвертъ къ себѣ и вскроетъ его при друзьяхъ моихъ послѣ моей смерти и послѣ смерти моего мужа».

Окончивъ эту надпись, Синтиянина заперла конвертъ въ ящики и, облокотясь на комодъ, стала у него и задумалась.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Ходитъ сонъ и дрема говоритьъ.

Луна уже блекла и сияла, наступала предрассвѣтная пора, быть второй часъ за полночь. Лампа на столѣ выгорѣла и стухла. Синтинина все стояла на одномъ и томъ же мѣстѣ.

«Все это кончится,—думала она:—онъ женится на Ларѣ, и тогда...» — Она задрожала и, хрустнувъ хладѣющими руками, прошептала: «О, Боже, Боже! И еще я же сама должна этому помочь... но вѣдь я тоже человѣкъ, и моя душа тоже есть ревность, есть эти страшные порывы къ жизни. Неужто мало я страдала? Неужто... О, нѣтъ! Избавь, избавь меня отъ этого, Создатель! Пускай, когда я сплю, мнѣ и во снѣ снится счастье. Все кончено! Зачѣмъ эти тревоги? Я жизнь свою сожгла и лучше мнѣ забыть о всемъ, что думалось прошедшему порой. Чего мнѣ ждать? Ко мнѣ не можетъ прилетѣть ужъ вѣстникъ радости, или онъ будетъ... вѣстникъ смерти... Его я жду и встрѣчу и уйду за нимъ... Туда, гдѣ ангелы, гдѣ мученица Флора».

И вѣдь умѣ Александры Ивановны потянулась долгая, тупая пауза, онъ словно уснуль, свободный отъ всѣхъ треволненій; память, уставъ работать, легла какъ занавѣсь, скрывшій отъ зрителя опустѣлую сцену, и возобладавшій духъ ея унесся и виталъ въ безмятежныхъ сферахъ. Это прекрасное, легкое состояніе, испыываемое какъ бы въ ослабу душѣ, длилось долго: свѣжій вѣтеръ предосенняго утра плылъ ровнымъ потокомъ въ окно и ласково шевелилъ распущенной косой Синтининой, цѣловать ея чистыя щеки и убаюкивать ее тихимъ свистомъ, проходя сквозь пазы растворенной рамы. Природа дышала. И вотъ вздохъ одинъ глубже другого: рама встрихнулась на петляхъ, задрожало стекло, словно кому-то тѣспо, словно кто-то спѣшить на свиданье, вотъ даже кто-то ворвался, вотъ сзади Синтининой послышался электрический трескъ и за спиной у нея что-то блеснуло и все освѣтилось свѣтло-голубымъ пламенемъ.

Александра Ивановна обернулась и увидала, что на полу, возлѣ плеіфа ея платья, горѣла спичка.

Генеральна сообразила, что она, вѣрио, зажгла спичку, наступивъ на нее, и быстро отбросила ее отъ себя дальше ногой; но чуть лишь блеснула на полетѣ эта слабый

огонь, она съ ужасомъ ясно увидѣла очень странную вещь: скрытый портретъ Флоры, съ выколотыми глазами, тихо спускался изъ-подъ кутавшей его занавѣсы и, качаясь съ угла на уголъ, шелъ къ ней...

— Нѣть, Флора, не надо, не надо, уйди! — вскрикнула Синтиянина, быстро кипувшись въ испугѣ въ противоположный уголъ, и тотчасъ же сама устыдилась своего страха и крика.

«Можетъ-быть, ничего этого и не было и мнѣ только показалось, а я, между тѣмъ, подняла такой шумъ?» — подумала она, оправляясь.

Но между тѣмъ, должно-быть, что-то было, потому что въ спальнѣ снова послышалось порканье спички, и два удара косточкой тонкаго пальчика по столу возвѣстили, что Вѣра не спить.

Александра Ивановна оборотилась и увидѣла трепещущій свѣтъ; Вѣра сидѣла въ постели и зажигала спичкой свѣчу.

— Не она ли и минуту тому назадъ зажгла и бросила спичку? Я, забывшись, могла и не слыхать этого, но... Господи! портретъ, дѣйствительно, стоить предъ столомъ! Онь дѣйствительно сошелъ со стѣны и... она шелъ, но онъ остановился!

Синтиянина остолбенѣла и не трогалась.

Вѣра взяла въ руки портретъ и позвала мачиху.

— Зачѣмъ ты ее такъ оскорбила? — спросила она своими знаками генеральшу. — Это не хорошо, смотри, она тобой теперь огорчена.

Александра Ивановна вздрогнула, сдѣлала два шага къ Вѣрѣ и, торопливо озираясь, сказала рукой:

— Куда ты заставляешь меня смотрѣть?

— Назадъ.

— Чего?.. Кто тамъ? скажи мнѣ: я робѣю...

— Гляди!.. Она оскорблена... Зачѣмъ ея бояться?

— Не пугай меня, Вѣра! Я сегодня больна! Я никого не оскорбила.

Но дѣвочка все острѣй и острѣй глядѣла въ одну точку и не обращала вниманія на послѣднія мачихины слова.

— Гляди, гляди! — показывала она, ведя пальцемъ руки по воздуху.

— Ахъ, отстань, Вѣра!.. Не пугай!.

— Я не пугаю!.. Я не пугаю... Она здѣсь... ты тихо, тихо стой... вотъ, вотъ... не трогайся... не шевелись... она идетъ къ тебѣ... она возлѣ тебя...

— Оставь, прошу тебя, оставь, — шептала генеральша, растерявшись, стыня отъ внезапно охватившаго ее холоднаго тока.

— Какая добрая! — продолжала сообщать Вѣра, и вдругъ, задыхаясь, схватила мачиху за руку и сказала:

— Бери, бери скорѣй... она тебѣ даетъ... Ахъ, ты, неловкая!.. теперь упало!

И въ это же мгновеніе по полу дѣйствительно чтѣ-то стукнуло и покатилось.

Александра Ивановна оглянулась вокругъ и не видѣла ничего, что бы могло причинить этотъ стукъ, но Вѣра скользнула подъ столъ, и Синтиянина ощущила на пальцѣ своей опущенной руки холодное кольцо.

Она подняла руку: да; ей это не казалось, — это было дѣйствительно настоящее кольцо, ровное, простое золотое кольцо.

Изумленію ея не было мѣры. Она торопливо взяла это кольцо и посмотрѣла внутрь: видно было, что здѣсь когда-то была вырѣзана надпись, но потомъ сцарапана ножомъ и тщательно затерта.

— Откуда же оно взялось?

Вѣра тихо указала ей пальцемъ на уголъ протертаго полотна въ портретѣ: тутъ теперь была прорѣха и съ испода значокъ отъ долго здѣсь лежавшаго кольца.

Синтиянина пожала плечами и, глядя на Вѣру, которая вѣшала на мѣсто портретъ, безотчетно опять надѣла себѣ на палецъ кольцо.

— Второй разъ поздравляю тебя! — сказала, прыгнувъ ей на шею, Вѣра и поцѣловала мачиху въ лобъ.

Александра Ивановна замахала руками и хотѣла сбросить кольцо; но Вѣра ее остановила за руку и погрозила пальцемъ.

— Это нельзя! — сказала она: — этого никакъ нельзя! никакъ нельзя!

И съ этимъ дѣвочкой погасила свѣчу, чьему Синтиянина была, впрочемъ, нескажанно рада, потому что щеки ея алѣли предательскимъ, яркимъ румянцемъ, и она была такъ сконфужена и взволнована, что не въ силахъ была сдѣлать ни-

чего иного, какъ добрести до кровати и, упавъ головой на подушки, залакала слезами безпричинными, безотчетными, въ которыхъ и радость, и горе были смѣшаны вмѣстѣ и вмѣстѣ лились на свободу.

«Нѣть; тутъ вокругъ насть гнѣздятся какія-то чары,— думала она, засыпая.— Въ мою жизнь... мѣшается кто-то такой, про кого не снилось земнымъ мудрецамъ... или я мѣшиаюсь въ умѣ! О, ангель мой! О, страдалица Флора! молись за меня! Зачѣмъ еще мнѣ жить... жить хочется!»

— И надо.

Молодая женщина вздрогнула и накрыла голову подушкой, чтобы ничего не слыхать.

А сонъ все ходитъ вокругъ и дрема все ползетъ подъ подушку и шепчетъ: «живеть надо! непремѣнно надо!»

Коварный сонъ, ехидная дрема!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Черный день.

Утро освѣтило Александру Ивановну во спѣ, продлившемся гораздо долѣе обыкновенного. Она спала сладко, дышала полно, уста ея улыбались и щеки горѣли яркимъ румянцемъ. Въ такомъ положеніи застала ее Вѣра, вставшая, по обыкновенію своему, очень рано и къ этой порѣ уже возвратившаяся съ своей далекой утренней прогулки. Она подошла къ мачихѣ, посмотрѣла на нее и, поставивъ у изголовья генеральши стаканъ молока, провела по ея горячей щекѣ свѣжею озерною лилей. Холодный, густой и клейкий сокъ выбѣжалъ изъ чашки цвѣтка и круинами, тажелыми, какъ ртуть, каплями скатился по гладкой кожѣ.

Синтянина открыла глаза и, увидавъ улыбающееся лицо падчерицы, сама отвѣчала ей ласковою улыбкой.

— Ты хорошо спала,—сказала ей своею ручною азбукой дѣвушка.— Вставай, пора; довольно спать, пора проснуться.

Синтянина оперлась на локоть и, заглянувъ чрезъ дверь на залитую солнцемъ залу, вдругъ безпричинно встревожилась.

Она еще разъ посмотрѣла на Вѣру, еще разъ взглянула на солнечный свѣтъ, и они оба показались ей странными: въ косыхъ лучахъ солнца было что-то зловѣщее, въ нихъ какъ-будто что-то мѣло и тряслось.

Бываетъ такой страшный свѣтъ: онъ гонитъ прочь покой нервозныхъ душъ и наполняетъ тяжкими предчувствіями душу.

Спокойное и даже пріятное расположеніе духа, которымъ Александра Ивановна наслаждалась во снѣ, мгновенно ес оставило и замѣнилось тревожною тоской.

Она умылась, убрала паскори голову и сѣла къ поданному ей стакану молока; но только - что поднесла его ко рту, какъ глаза ея остановились на кольцѣ, и сердце вдругъ упало и замерло.

Необыкновенного ничего не было: она только вспомнила про кольцо, которое ей такъ странно досталось, да въ эту же секунду калитка стукнула немножко громче обычновенаго. Болѣе ничего не было, но Александра Ивановна встревожилась, толкнула отъ себя стаканъ и бросилась бѣгомъ къ окну.

По двору шла Форова; но какъ она шла и въ какомъ представилась она видѣ? Измятая шляпка ея была на боку, платье на груди застегнуто наперекося, въ одной рукѣ длинная, сухая, вѣтвистая хворостина, другою локтемъ она прижимала къ себѣ худой коленкоровый зонтикъ и тащила за собою, рукавами внизъ, свое рыхкое драповое пальто.

Она шла скоро, какъ летѣла, и вела по окнамъ острыми глазами.

— О, Боже мой! — воскликнула при этомъ видѣ Синтиянина и, растворивъ съ размаху окно, закричала: — Что сдѣлалось... несчастіе?

— Гибель, а не простое несчастіе! — проговорила на бѣгу дрожащими губами Форова.

— О, говори скорѣй и сразу! — крикнула, рванувшись на встрѣчу къ ней, Синтиянина. — Скорѣй и сразу!

— Подозеровъ убитъ! — отвѣтчила Катерина Астафьевна, бросая въ сторону свою хворостину, зонтикъ и пальто и сама падая въ кресло.

Генеральша взвизгила, взялась за сердце и, отыскавъ дрожащею рукой спинку стула, тихо на него сѣла. Она была блѣдна какъ платье и смотрѣла въ глаза Форовой. Катерина Астафьевна, тяжело дыша, сидѣла предъ нею съ лицомъ, покрытымъ пылью и полузавѣшенными прядями сѣдыхъ волосъ.

— Что-жъ дальше? Говори: я знаю, за что это, и я все снесу!—шептала генеральша.

— Дай мнѣ скорѣй воды, я умираю жаждой.

Синтиянина ей подала воды и приняла назадъ изъ рукъ ея пустой стаканъ.

— Твой мужъ...

— Ну да, ну что-жъ мой мужъ?.. Скорѣй, скорѣй!

— Ударъ, и пуля въ старой ранѣ опустилась книзу.

Стаканъ упалъ изъ рукъ Синтияниной и покатился по полу.

— Оба! — проговорила она и, обхвативъ голову руками, заплакала.

— Какъ былъ убитъ Подозеровъ и... что это такое,—заговорила, кряхтя и съ остановками, Форова: — я этого не знаю... Ни отъ кого нельзя... добиться толку.

— Даэль! Я такъ и думала,—прошептала генеральша:— я это чувствовала, но... меня обманули.

— Нѣть... Форовъ... говорить убийство... Весь городъ... мечется... бѣжитъ туда... А твой Иванъ Демьянычъ... всталъ нынче утромъ... былъ здоровъ и... вдругъ пакетъ изъ Петербурга... ему соѣтуютъ подать въ отставку!

— Ну, ну же, Бога ради!

— За несмотрѣніе... за слабость... за моего Форова съ отцомъ Евангеломъ... будто они гордановскихъ мужиковъ мутили. Иванъ Демьянычъ какъ прочиталъ... такъ и покатился безъ языка.

— Скорѣй же ёдемъ!—и Александра Ивановна, накинувъ на себя сѣрый суконный платокъ, схватила за руку Вѣру и бросилась къ двери.

Форова едва плелась и не поспѣвала за нею.

— Ты на чёмъ прїѣхала сюда?—оборотилась къ ней Синтиянина.

— Все на твоей же лошади и... въ твоей же карафашкѣ.

— Такъ ёдемъ.

И Александра Ивановна, выбѣжалъ за ворота, вспрыгнула въ телѣжку, втянула за собой Форову и Вѣру, и, повернувъ лошадь, погнала вскачь къ городу.

Дорогой никто изъ нихъ не говорилъ другъ съ другомъ ни о чёмъ, но, переѣхавъ бродъ, Катерина Астафьевна вдругъ вскрикнула благимъ матомъ и потянулась въ бокъ съ телѣжки.

Синтиянина едва удержала ее за руку, и тутъ увидала,

ЧТО ВЪ НѢСКОЛЬКИХЪ шагахъ предъ ними, на тряскихъ извозчичихъ дрожкахъ єхалъ майоръ Форовъ въ сопровожденіи обнимавшаго его квартального.

— Мой Форовъ! Форовъ!—неистово закричала Катерина Астафьевна, между тѣмъ какъ Синтиянина опять пустила лошадь вскачъ, а Филетерь Ивановичъ вырвалъ у своего извозчика вожжи и осадилъ коня, задравъ ему голову до самой дуги.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Форовъ дѣлается Макаромъ, на котораго сыплются шишки.

Коренастый майоръ не только по виду былъ совершенно спокоенъ, но его и въ самомъ дѣлѣ ничто не беспокоило; онъ былъ въ томъ же своемъ парадицурномъ сюртукѣ безъ одной пуговицы; въ той же черной шелковой, доверху застегнутой жилеткѣ; въ военной фуражкѣ съ кокардой, и съ толстою крученою папироской.

— Торочка моя! Тора! Чего ты, глупая баба, плачешь?— заговорилъ онъ самымъ задушевнымъ голосомъ, оборотясь на дрожкахъ къ женѣ.

— Куда?.. Куда тебя везутъ?

— Куда? А чортъ ихъ знаетъ, по начальству,—пошутилъ онъ, по обыкновенію, выпуская букву ѣ въ словѣ «начальство».

— Поди сюда скорѣй ко мнѣ? Поди, мой Форовъ!

— Сейчасъ, — отвѣтилъ майоръ, и съ этимъ повернулся по-медвѣжьи на дрожкахъ.

Полицейскій его остановилъ и сказалъ, что этого нельзя.

— Чего нельзя? — огрызнулся майоръ. — Вы еще не знаете, чтѣ я хочу дѣлать, а ужъ говорите нельзя. Учитесь прежде разуму, а послѣ говорите!

И съ этимъ онъ спрыгнулъ съ извозчика и подбѣжалъ къ женѣ.

— Чего ты, моя дурочка, перепугалась? Пустое дѣло: спрось и больше ничего... Я скоро ворочусь... и башмаки тебѣ принесу.

Катерина Астафьевна ничего не могла проговорить и только манила его къ себѣ ближе и ближе, и когда майоръ придинулся къней и сталъ на колесо телѣжки ногой, она обняла лѣвою рукой его голову, а правою схватила его

руку, прижала ее къ своимъ запекшимся губамъ и вдругъ погнулась и упала совсѣмъ на его сторону.

— Воть еще горе! Ей сдѣлалось дурно! Фу, какая гадость!—сказалъ майоръ Синтяниной и, оборотясь къ квартальному, проговорилъ гораздо громче:— Прошу васъ дать воды моей женѣ, ей дурно!

— Я не обязанъ.

— Что?—крикнулъ азартно Форовъ:—вы врете! Вы обязаны дать больному помоить!—и тотчасъ же, оборотясь къ двумъ проходящимъ солдатамъ, сказалъ:

— Ребята, скачите въ первый дворъ и вынесите скорый стаканъ воды: съ майоршей обморокъ!

Солдатики оба бросились бѣгомъ и скоро возвратились съ ковшомъ воды.

Синтянина стала мочить Катеринѣ Астафьевнѣ голову и прыскать ей лицо, а майоръ снова обратился къ квартальному, который въ это время сошелъ съ дрожекъ и стоялъ у него за спиной.

— Васъ бы надо по старому поучить вашимъ обязанностямъ.

— Я васъ прошу садиться иѣхать со мной,—настаивалъ квартальный.

— А я не поѣду, пока не провожу жену и не увижу ее дома, мой домъ отсюда въ двухъ шагахъ.

Занятая Форовой, Синтянина не замѣчала, что предъ нею разгоралась опасная сцена, способная пріумножить вины майора. Она обратила на это вниманіе уже тогда, когда увидала Филетера Ивановича впереди своей лошади, которую майоръ тянулъ подъ-уздцы къ воротамъ своего дома, между тѣмъ какъ квартальный заступалъ ему дорогу.

Вокругъ уже была толпа зрителей всякаго сорта.

— Прочь! — кричалъ Форовъ. — Не выводите меня изъ терпѣнія. Законъ больныхъ щадить, и государственнымъ преступникамъ теперь разрѣшаютъ быть при больной женѣ.

— Васъ вице-губернаторъ ждетъ,—напиралъ на него квартальный, начиная касаться его руки.

— Пусть чортъ бы ждалъ меня, не только вашъ вице-губернаторъ. Я не оставлю среди улицы мою жену, когда она больна.

— А я вамъ не позволю,—и квартальный, ободряемый массой свидѣтелей, взялъ Форова за руку.

Майоръ побѣль и гаркнулъ: прочь! такимъ яростнымъ голосомъ, что народъ отступилъ.

— Отойдите прочь!.. Не троньте меня!

Квартальный держалъ за руку Форова и озирался, но въ это мгновеніе черный рукавъ майорскаго сюртука неожиданно описалъ полукругъ, и квартальный пошатнулся и отлетѣлъ на пять шаговъ отъ нанесенного ему удара.

Квартальный крикнулъ и кинулся въ толпу, которая, въ свою очередь, шарахнулась отъ него и захочотала.

Уличная сцена окрашивалась въ свои вѣковѣчныя грязные краски, но, къ счастію генеральши, занятая безчувственною Форовой, она не все здѣсь видѣла и еще того менѣе понимала.

Освободясь отъ полицейскаго, майоръ сдѣлалъ знакъ Александра Ивановича, чтобы она крѣпче держала его больную жену, а самъ тихо и осторожно подвель лошадь къ воротамъ своего дома, который дѣйствительно былъ всего въ двадцати шагахъ отъ мѣста свалки.

Ворота Форовскаго дома не отворялись: они были забиты наглухо и во дворъ было невозможно вѣхать. Катерину Астафьевну приходилось снести на рукахъ, и Форовъ исполнилъ это вмѣстѣ съ тѣми же двумя солдатами, которые прислужились ему водой.

Тихо, осторожно и ловко, съ опытностію людей, переиowitzшихъ раненыхъ, они внесли недышащую Катерину Астафьевну въ ея спальню и положили на кровать.

Синтиянина была въ большомъ затрудненіи, и затрудненіе ея съ каждою минутой все возрастало, потому что съ каждою минутой опасность увеличивалась разомъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, гдѣ она хотѣла бы быть и куда влекъ ее ея прямой долгъ, но Форова была бездыханна, и при ея кипучей душѣ и незнающихъ удержу нервахъ, ей грозила большая опасность.

Генеральша, скрѣпя сердце, ринулась къ больной, разстегнула ей платье и стала тереть ей уксусомъ лобъ, виски, грудь, а въ это же время скороговоркой разсирашивала Форова о происшедшемъ.

— За что они дрались?

— Ну, это все послѣ, послѣ,—отвѣчалъ майоръ.

— Но во всякомъ случаѣ это была дуэль?

— Нѣтъ; не дуэль—убийство!

— Прошу васъ говорить яснѣй.

— Это было убийство... самое подлое, самое предательское убийство.

— Но кто же убилъ?

— Мерзавцы! Развѣ вы не видите, что на все способенъ? Вѣдь за все, бездѣльники, берутся, даже ужъ въ спириты лѣзутъ: ни отъ чего отказа, и изъ всего выходятъ цѣлы.

— Подозеровъ наповалъ убить?

— Пулей въ грудь, подъ пятое ребро, навылетъ въ спину, по полчаса тому назадъ, когда я отъ него вышелъ, онъ еще дышалъ.

Синтянина благодарно перекрестилась.

— Но все равно,—махнулъ рукой майоръ:—рана мертвая.

— И онъ теперь одинъ?

— Иѣть, тамъ осталась Лариса.

— Лариса тамъ? Что же съ нею, бѣдной?

Форовъ процѣдилъ сквозь зубы:

— Что съ неей? Рветъ волосы, реветъ и, стоя на колѣяхъ въ ногахъ его постели, мѣшаетъ фельдшеру.

— А Гордановъ?

— Раненъ въ пятку.

— Да время-ль тенерь для шутокъ, Филетеръ Иванычъ?

— Я не шучу-сь. Гордановъ раненъ въ пятку.

— Значитъ, Подозеровъ стрѣлялъ?

— Нимало.

Майоръ оглянулся и, увидавъ у двери снова появившагося квартального, промпталъ на ухо генералыни:

— Эту пулю ему, подлецу, я засадилъ.

— Господи! что-жъ это такое у васъ было?

— Ну, что это было? Ничего не было. Послѣ узнаете: видите воинъ штака-квартака торчитъ и слушаетъ, а вотъ и, слава Богу, Торочка оживаетъ!—молвилъ онъ, замѣтивъ дрожаніе вѣкъ у жены.

— Это была бойня! — простонала, едва открывая свои глаза, Форова.

— Ну, Торочка, я и въ походъ...—заторопился майоръ и поцѣловалъ женину руку.

Катерина Астафьевна смотрѣла на него безъ всякаго выраженія.

— И я, и я тебя оставлю, Катя, рванулась Синтянина.

— Иди... но... попроси... ты за него... Ты генеральша... тебя вѣдь примутъ...

— Ничего не надо,—отказался Форовъ.

И они съ Синтяниной вышли.

— Меня арестуютъ,—заговорилъ онъ, идучи по двору:— дуэль, плевать, три пятницы молока не ъесть: а вы... знайте-съ, что попъ Евангель уже арестованъ, и мы смутьяны... въ бунтъ виноваты!.. Такъ вы, когда будетъ можно... позаботьтесь о ней... о Торочкѣ.

— Ахъ, Боже! разомъ столько требующихъ заботъ, что не знаешь куда обернуться! Но не падайте же и вы душомъ, Филетеръ Иванычъ!

— Изъ-за чего же? вѣдь два раза не повѣсять.

— Всё Богъ устроитъ; а теперь молитесь Ему о крѣпости душевной.

— Да зачѣмъ Его и беспокоить такою малостью? Я исполнѣлъ свой долгъ, сдѣлалъ, что миѣ слѣдовало сдѣлать, и буду крѣпокъ...—А вонъ, глядите-ка!—воскликнулъ онъ въ калиткѣ, увида нѣсколькихъ полицейскихъ, несшихся взадъ и впередъ на извозчикахъ.—Все курьеры, сорокъ пять тысячъ курьеровъ; а когда, подлецы, втихомолку мутятъ да каверзятъ, тогда ни одного протоканалии нигдѣ не ви-деть... Садись! — заключилъ онъ, грубо крикнувъ на квартального.

Но квартальный оборотился къ Синтяниної съ просьбой быть свидѣтельницей, что Форовъ его ударили.

— Ахъ, идите вы себѣ, пожалуйста! Какое мнѣ до васъ дѣло,—отвѣчала, вспрыгнувъ въ телѣжку, Синтянина и, горя нетерпѣніемъ, шибко побѣхала къ своему дому.

— А ты, любезный, значить не знаешь китайского правила: «чинъ чина почитай»? Ты смѣешь просить генеральшу? Такъ вотъ же тебѣ за это наука!

И съ этимъ Форовъ сѣлъ самъ на дрожки, а квартального поставилъ въ ноги между собой и извозчикомъ и повезъ его, утѣшая, что онъ такъ всѣмъ гораздо виднѣе и пригляднѣе.

Обгоняя Синтянину, Форовъ кивнулъ ей весело фуражкой.

— Ахъ, твори Богъ Свою волю!—прошептала генеральша, глядя вслѣдъ удалявшемуся Форову и еще нетерпѣливѣе погоняя лошадь къ дому.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Нѣсколько строкъ для объясненія дѣла.

Положеніе ~~дѣла~~ нашей исторіи, дозволяющее заключить эту часть романа разсказанными событиями, можетъ возбудить въ комъ-нибудь изъ нашихъ читателей желаніе немедленно знать нѣсколько болѣе, чѣмъ сколько подневольное положеніе майора Форова дозволило ему открыть генеральшѣ Синтяниной.

Какъ изъ дуэли вышла совсѣмъ не дуэль, а убийство, и почему Форовъ стрѣлялъ Горданову, какъ онъ выразился, въ пятку?

Мы имѣемъ возможность удовлетворить этому желанію, не рискуя такимъ образомъ предупредить события въ предстоящемъ имъ развитіи, и спѣшимъ служить этою возможностю лицамъ, заинтересованнымъ судьбою нашихъ героевъ.

Послѣ того какъ Филстеръ Ивановичъ Форовъ разставилъ дуэлистовъ на мѣстѣ и, педантически исполняя всѣ обычаи поединка, еще разъ предложилъ имъ примириться, ни Гордановъ, ни Подозеровъ не отвѣтили ему ни слова.

— За что я долженъ принять ваше молчаніе? — освѣдомился Форовъ.

— Пусть онъ проситъ прощенія, — отвѣчалъ Гордановъ хладнокровно, цѣля въ одинокую бѣлую березку.

— Я вѣсь прошу, распоряжайтесь скорѣй стрѣлять! — проговорилъ едва слышно Подозеровъ.

Форовъ ничего иного и не ожидалъ.

— Извольте же готовиться! — сказалъ онъ громко и, сдѣлавъ шагъ къ Подозерову, шепнувъ: куражъ, куражъ! и стойте больше правымъ бокомъ... Глядите, онъ, каналья, какъ стоять. Ну, защити Богъ праваго!

Подозеровъ молча кивалъ въ знакъ согласія головой, но онъ ничего не слыхалъ. Онъ думалъ совсѣмъ о другомъ. Онъ припоминалъ *ее*, какою она вчера была въ осинникѣ и... покраснѣлъ отъ мысли, что она его любить.

— Неужто это такъ?.. но кажется... да.

Умирать съ *такою*увѣренностью въ любви *такої* женщины, какъ генеральша, и умирать въ высочайшую минуту, когда это счастіе только-что сознано и ничѣмъ не омрачено — это казалось Подозерову благодатью, незаслуженно заключающей всю его жизнь прекрасной страницей.

Онъ послалъ благословеніе ей за эту смерть; вспомнилъ о Богѣ, но не послалъ Ему ни просьбъ, ни воздыханія, и началъ обѣими руками поднимать пистолетъ, наводя его на Горданова какъ пушку.

Такой приемъ съ оружіемъ не обѣщалъ ничего добра гуэлиста, и Форовъ это понималъ, но дѣлать было уже нечего, останавливаться было не время, да и Андрей Иванычъ, очевидно, не могъ быть инымъ, какимъ онъ былъ теперь.

— Извольте же!—возгласилъ еще разъ Форовъ и, оглянувшись на высматривавшаго изъ-за куста Висленева, стоялъ немного въ сторонѣ, на половинѣ разстоянія между поединщиками.—Я буду говорить теперь вамъ: разъ, и два, и три, и вы по слову «три» каждый спустите курокъ.

— Ладно,—отвѣчалъ, надвинувъ на лобъ козырекъ фуражки, Гордановъ.

Подозеровъ молчалъ и держалъ свою пушку предъ противникомъ, повидимому, не желая глядѣть ему въ лицо.

— Теперь я начинаю,—молвилъ майоръ, и точно фотографъ, снимающій шапочку съ камерной трубы, далъ шагъ назадъ и, выдвинувъ впередъ руку съ синимъ бумажнымъ платкомъ, громко и протяжно скомандовалъ: р-а-зъ, д-в-а... Выстрѣль гряпулъ.

Пистолетъ Горданова дымился, а Подозеровъ лежалъ на вѣничъ и трепеталъ, какъ крылами трепещетъ подстрѣленная птица.

— Подлецъ!—заревѣлъ ошеломленный майоръ: — я говорилъ, что тебѣ быть отъ меня битымъ!—и онъ, однимъ прыжкомъ достигнувъ Горданова, ударилъ его по щекѣ, такъ что тотъ зашатался.—Секундантъ трусы! Ставьте на мѣсто убийцу, выстрѣль убитаго теперь мой.

И съ этимъ майоръ подбѣжалъ къ лежащему на землѣ Подозерову и схватилъ его пистолетъ, но Горданова уже не было на мѣстѣ: онъ и Висленевъ бѣжали рядомъ по полянѣ.

— А! такъ вотъ вы какъ! презрѣнная мразь!—воскликнулъ майоръ и выстрѣлилъ.

Бѣглецы оба упали: Гордановъ отъ раны въ пятку, а Висленевъ за компанию отъ страха. Черезъ минуту они, впрочемъ, также оба вмѣстѣ встали, и Висленевъ, подставивъ свое плечо подъ мышку Горданова, обнялъ его и потащилъ къ оставленному подъ горой извозчику.

Форовъ остался одинъ надъ Подозеровымъ, который слабо хрюпѣлъ и у котораго при каждомъ незамѣтномъ вздохѣ выступало на жилетѣ все болѣе и болѣе крови.

Майоръ разстегнулъ жилетъ Андрея Ивановича, нашупалъ кое-какъ рану и, воткнувъ въ нее комъ грубой корпи, припасеній имъ про всякий случай въ карманѣ, бросился самъ на дорогу.

Невдалекѣ онъ заарестовалъ бабу, юхавшую въ городѣ съ возомъ молодой капусты, и, давъ этой, ничего не понимавшей и управлявшейся бабѣ нѣсколько толчковъ, насилино привелъ ея лошадь къ тому мѣсту, гдѣ лежалъ безчувственный Подозеровъ. Здѣсь майоръ, не обращая вниманія на кулаки и вопли женщины, сбросилъ половину кочней на землю, а изъ остальныхъ устроилъ нѣчто въ родѣ постели и, поднявъ тяжело раненаго или убитаго на свои руки, уложилъ его на возъ, далъ бабѣ рубль, и Подозерова повезли.

Майоръ во все время пути стоялъ на возу на колѣньяхъ и держалъ голову Подозерова, помертвѣлое лицо котораго начинало отливать синевой, несмотря на ярко освѣщавшее его солнце.

Этотъ восьмиверстный перѣездъ на возу, который чуть волокла управляемая бабой крестьянская кляча, показался Форову за большой путь. Съ сѣдой головы майора обильно катились на его загорѣлое лицо капли пота и, смѣшиваясь съ пылью, ползли по его щекамъ грязными потоками. Толстое, коренастое тѣло Форова давило на его согнутая колѣна, и ноги его ныли, руки отекали, а поясницу ломило и гнуло. Но всего труднѣе было переносить пожилому майору то, что совершилось въ его головѣ.

«Какая мерзость! Нѣть-съ; какая неслыханная мерзость!— думалъ онъ.— Какая каторжная, наглая смѣлость и какой расчетъ! Онъ шелъ убить человѣка при двухъ свидѣтеляхъ и не боялся, да и нечего ему было бояться. Чѣмъ я докажу, что онъ убилъ его какъ злодѣй, а не по правиламъ дуэли? Да первый же Висленевъ скажетъ, что я вру! А къ этому же всему еще эта чортова ложь, будто я съ Евангеліемъ возмущалъ его крестьянъ. Какой я свидѣтель? Миф никто не повѣритъ!»

При этомъ майоръ началъ дѣлать непривычныя и всегда противныя ему юридическія соображенія, которыхъ не слагались и путались въ его головѣ.

«Поведенія я неодобрительнаго,—высчитывалъ майоръ:—извѣстно всѣмъ, что я принимаю на нутро, ненавижу приказныхъ, часто грублю разному начальству, стремлюсь, по общему выраженію, къ осуществленію несбыточныхъ мечтаний и въ Бога не вѣрю... То-есть чортъ меня знаетъ, что я такое! Что тутъ возьмешь съ такою аттестацией? Всякій судъ меня засудить!.. И надѣяться не на что. Развѣ на Бога, какъ надѣется моя жена. Да; вѣдь истинно болѣе не на кого! Свидѣтели!—да кто же, какой чортъ велитъ подледу, задумавши гадость, непремѣнно сдѣлать ее при свидѣтеляхъ? Нѣть; это даже страшно, во что нынче обернулись эти господа: предусмотрительны, расчетливы, холодны... Неуязвимы ничѣмъ! Въ спириты идутъ; въ попы пойдутъ... въ монахи пойдутъ. Отчего же не пойдутъ? пойдутъ. Это ужъ начинается іезуитство. Въ шпионы пойдутъ... Въ шпионы!.. Да кто же взаправду Гордановъ? О, о-о! Нѣть, видно правъ попъ Евангель, если Богъ Саваое за насть сверху не вступится, такъ мы міръ удивимъ своею подлостію!»

И съ этими-то мыслями майоръ вѣхалъ на возу въ городъ; достигъ, окруженный толпой любопытныхъ, до квартиры Подозерова; снесъ и уложилъ его въ постель, и послалъ за женой, которая, какъ мы помнимъ, осталась въ эту ночь у Ларисы. Затѣмъ Форовъ хотѣлъ сходить домой, чтобы смынить причинившее ему зудъ пропыленное бѣлье, но былъ взятъ.

Гордановъ былъ гораздо счастливѣе. Онъ былъ увѣренъ, что убилъ Подозерова, и исходъ дѣла предвидѣлъ тотъ же, какой мерецился и Форову, но съ тою разницей, что для Горданова этотъ исходъ былъ не позоромъ, а торжествомъ.

Павель Николаевичъ лежалъ на мягкому матрацѣ, въ блестящемъ серебристомъ бѣльѣ; перевязка его позорной раны въ ногу не причинила ему ни малѣйшей боли и разстройства, и онъ, обрызганный тонкими духами, глядѣлъ себѣ на розовые ногти и видѣлъ ясно вблизи желанный край своихъ стремлений.

Подъ подушкой у него было письмо княгини Казимири, которая звала его въ Петербургъ, чтобы «сдѣлать большое дѣло!»

Бодростинъ былъ поставленъ своими друзьями какъ

шашка на конъ, да притомъ и вмѣстѣ съ самою Бодростиной: княгиня Казимиръ вносила совсѣмъ новый элементъ въ жизнь.

— Гм! гм! однако, у меня теперь ужъ слишкомъ большой выборъ!—утѣшался Гордановъ и разстилалъ передъ собою большой замыселъ, которому все доселѣ бывшее должно служить не болѣе, какъ прелюдіей.

Начавъ ползкомъ, какъ котъ, подкрадываться къ цѣли, Гордановъ чувствовалъ ужъ теперь въ своихъ когтяхъ хвосты тѣхъ птицъ, въ которыхъ хотѣлъ впиться. Теперь болѣе чѣмъ когда-либо окрѣпло въ немъ убѣженіе, что въ нашемъ обществѣ все прощено и все дозволено безстыдной наглости и лицемѣріемъ прикрытому пороку.

Ошибался или не ошибался въ этомъ Гордановъ — читатели увидятъ изъ слѣдующей части нашего романа.

Часть четвертая.

МЕРТВЫЙ УЗЕЛЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Тикъ и такъ.

Рана, нанесенная Подозерову предательскимъ выстрѣломъ Горданова, была изъ ранъ тяжкихъ и опасныхъ, но не безусловно смертельныхъ, и Подозеровъ не умеръ. Излѣченіе такихъ сквозныхъ ранъ навылетъ въ грудь подъ пятое ребро слѣва относить къ разряду чудесныхъ; на самомъ же дѣлѣ здѣсь гораздо менѣе принадлежитъ чуду врачества, чѣмъ слушаю. Все зависитъ отъ момента пролета пули по области, занимаемой сердцемъ. Отправления сердца, какъ извѣстно, производятся постояннымъ его сокращеніемъ и расширеніемъ; эти поперемѣнно одинъ за другимъ слѣдующіе моменты, называемые въ медицинѣ *systole* и *dias-tole*, даютъ два звука: *тикъ* и *такъ*.

Въ первомъ изъ нихъ органъ сокращается въ продольномъ своемъ діаметрѣ и оставляетъ около себя мѣсто, по которому стороннее тѣло можетъ пройти насквозь черезъ грудь человѣка, не коснувшись сердца и не повредивъ его. Назадъ тому очень немногого лѣтъ, въ Москвѣ одинъ извѣстный злодѣй, въ минуту большой опасности быть пойманнѣмъ, выстрѣлилъ себѣ въ сердце и остался живъ, потому что сердце его въ моментъ прохожденія пули было въ состояніи сокращенія: сердце Подозерова тоже сказали «тикъ»

въ то время, когда Гордановъ рѣшалъ «такъ». Подозеровъ остался жить, но тѣмъ не менѣе онъ остановился на самомъ краю гроба: легкія его были поранены, и за этимъ послѣдовали и кровоизлѣяніе въ полость груди, и удушающая легочная опухоль, и травматическая лихорадка. Пропшло около мѣсяца послѣ бойни, устроенной Гордановымъ, а Подозеровъ все еще былъ ближе къ смерти, чѣмъ къ выздоровленію. Опасная лихорадка не уступала самому внимательному и искусному лѣченію.

На дворѣ въ это время стояли человѣкопенавистные дни октября: ночью мокрая выюга и изморось, днемъ ливень, и въ промежуткахъ тяжелая сѣрая мгла; грязь и мощеныхъ, и немощеныхъ улицъ растворилась и тонила и пѣшаго, и коннаго. Мокрые заборы, мокрыя крыши и запотѣвшія окна словно плакали, а осклизшія деревья садовъ, доставлявшихъ лѣтомъ столько приятной тѣни своею зеленью, теперь беспокойно качались и, скрипя на корняхъ, хлестали черными вѣтвями по стекламъ не закрытыхъ ставнями оконъ и наводили уныніе.

Спальня Подозерова, гдѣ онъ лежалъ, была комната средней величины; она выходила въ садъ двумя окнами, въ которыхъ такимъ образомъ жутко стучали голыя вѣтви. Во все это время Андрей Ивановичъ не возвращался къ сознательной жизни человѣка: онъ былъ чуждъ всякихъ заботъ и желаній и жилъ лишь специальной жизнью больного. Онъ постоянно или находился въ полузыбѣ, или, приходя въ себя, сознавалъ лишь только то, на что обращали его вниманіе; отвѣчалъ на то, о чемъ его спрашивали; думалъ о томъ, что было предполагаемо ему для отвѣта, и никакъ не далъ. Собственной иниціативы у него не было ни въ чемъ. Все прошедшее для него не существовало; никакое будущее ему не мерещилось; все настоящее сосредоточивалось въ данной краткой терціи, потребной для сознанія предложенного вопроса. Онъ называлъ по именамъ Катерину Астафьевну Форову, генеральшу и Ларису, которыхъ во все это время постоянно видѣлъ предъ собою; но онъ ни разу не остановился на томъ, почему здѣсь, возлѣ него, находятся именно эти, а не какія-нибудь другія лица; онъ ни разу не спросилъ ни одну изъ нихъ, отчего всѣ онъ такъ измѣнились; отчего Катерина Астафьевна осунулась, и всѣ ея волосы сплошь побѣлѣли; отчего также похудѣла

и пожелала генеральша Александра Ивановна и нѣтъ въ ней того спокойствія и самообладанія, которыя однихъ такъ успокоивали, а другимъ давали столько матеріала для разсужденій о ея безчувственности. Его не интересовало, отчего онъ, открывая глаза, такъ часто видѣть ее въ какомъ-то окаменѣломъ состояніи, со взглядомъ, неподвижно впереннымъ въ пустой уголъ полутемной комнаты; отчего блѣдые пальцы ея упертой въ високъ руки нетерпѣливо движутся и хрустятъ въ своихъ суставахъ. Ему было все равно. Лара, пожалуй, еще больше могла остановить на себѣ его вниманіе, но онъ не замѣчалъ и того, чтосталось съ нею. Лариса не похудѣла, но ея лицо... погрубѣло. Она подурнѣла. На ней лежалъ слѣдъ страданія тяжелаго и долгаго, но страданія не очищающаго и возвышающаго душу, а гнетущаго страхомъ и досадой. Подозеровъ ничего этого не наблюдалъ и ни надѣть чѣмъ не останавливался. Обѣ отсутствующихъ же нечего было и говорить: онъ во всю свою болѣзнь ни разу не вспомнилъ ни про Горданова, ни про Висленева, не спросилъ про Филетера Ивановича и не полюбопытствовалъ, почему онъ не видалъ возлѣ себя коренастаго майора, а между тѣмъ въ положеніи всѣхъ этихъ лицъ произошли значительныя перемѣны съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались съ ними въ концѣ третьей части нашего романа.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Гдѣ обрѣтается Форовъ.

Вспомянутый нами майоръ Форовъ еще до сего времени не возвращался домой съ тѣхъ поръ, какъ мы видѣли его бѣдущимъ на дрожкахъ съ избитымъ имъ квартальнымъ надзирателемъ. На майора Форова обрушились всѣ напасти: его воинственнымъ поступкомъ было какъ бы затушовано на время преступленіе Горданова. Уличная сцена майора, составлявшая относительно нѣсколько позднѣйшую новость дня, была возведена въ степень важнаго событія, за которымъ дуэль Подозерова сходила на степень событія гораздо низшаго. Тотъ самый вице-губернаторъ, котораго такъ безцеремонно и нагло осмѣивалъ Гордановъ, увидѣль въ поступкѣ Форова вѣрное средство подслужиться общественному мнѣнію, заинтересованному бравурствами Павла Николаевича, и ринулся со всею страстью и сурвостью на

безпомощнаго майора. Молодые, прилизанные и зашиты въ вицъ-мундиры канцелярскіе шавки, изъ породы еще не сознающихъ себя гордановцевъ, держали ту же ноту. Въ кабинетѣ начальника было изречено слово о немедленномъ же и строжайшемъ арестѣ майора Форова, оказавшаго примѣръ такого явного буйства и оскорбленія должностнаго лица; въ канцеляріяхъ слово это облеклось плотью; тамъ строчились бумаги, открывавшія Филетеру Ивановичу тяжелыя двери тюрьмы, и этими дверями честный майоръ былъ отдѣленъ отъ міра, въ которомъ онъ оказался вреднымъ и опаснымъ членомъ. О другихъ герояхъ этого дня пока было словно позабыто; нѣкоторымъ занимавшимся ихъ судьбой мнилось, что Горданова и Подозерова ждетъ тягчайшая участъ впереди; но справедливость требуетъ сказать, что двумя этими субъектами занимались лишь очень немногіе изъ губернскаго бомонда; наибольшее же вниманіе массъ принадлежало майору. По исконному обычаю массъ радоваться всякимъ напастямъ полиції, у майора вдругъ нашлося въ городѣ очень много друзей, которые одобряли его поступокъ и передавали его изъ устъ въ уста съ самыми невѣроятными преувеличеніями, доходившими до того, что майоръ вдругъ сталъ чѣмъ-то въ родѣ сказочнаго богатыря, одареннаго такою силой, чтѣ возьметъ онъ за руку—летить рука прочь, схватить за ногу—нога прочь. Говорили, будто бы Филетеръ Ивановичъ совсѣмъ убилъ квартальнаго, и утверждали, что онъ даже хотѣлъ перебить все начальство во всемъ его составѣ, и непремѣнно исполнилъ бы это, но не выполнилъ такой программы лишь только по неполученію своевременно надлежащаго подкѣплѣнія со стороны общества, и былъ заключенъ въ тюрьму съ помощью цѣлаго батальона солдатъ. Въ городѣ оказалось очень много людей, которые искренно сожалѣли, что майору не была оказана надлежащая помощь; въ тюрьму, куда посадили Филетера Ивановича, начали притекатъ обильныя приношенія булками, пирогами съ горохомъ и вареною рыбой, а одна купчиха-вдова, ведшая тридцатилѣтнюю войну съ полиціей, даже послала Форову красный мѣдный чайникъ, фунтъ чаю, пуховикъ, двѣ подушки въ темныхъ ситцевыхъ наволочкахъ, частый роговой гребень, банку персидскаго порошка, соломенные бирюльки и пучокъ сухой травы. Майоръ принялъ все, не исключая травы и бирюлекъ, которыя онъ

выровнялъ и устроилъ изъ этого припошениѧ очень удобные стельки въ свои протекиѣ сапоги. Затѣмъ онъ преспокойно усѣлся жить въ острогѣ, согрѣвая себя купчихинскимъ чаемъ изъ ея же мѣднаго чайника.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Каково поживаютъ другіе.

Что касается до Горданова, Подозерова и Висленева, то о нихъ вспомнили только на другой день и, въ виду болѣзненнаго состоянія Горданова и Подозерова, подчинили ихъ домашнему аресту въ ихъ собственныхъ квартирахъ; когда же пришли къ Висленеву съ тѣмъ, чтобы пригласить его переѣхать на гауптвахту, то нашли въ его комнатѣ только обрывки газетныхъ листовъ, которыми Іосафъ Платоновичъ обертывалъ веци; самъ же онъ еще вчера вечеромъ уѣхалъ Богъ вѣсть куда. Спрошенная о его исчезновеніи, сестра его Лариса не могла дать никакого опредѣлительного отвѣта, и это вовсе не было съ ея стороны лукавствомъ: она въ самомъ дѣлѣ не знала, куда скрылся Іосафъ. Она разсталась съ братомъ еще утромъ, когда онъ, возвратясь съ поединка, сразилъ ее вѣстью о смерти Подозерова. Не отходя съ той поры отъ постели умирающаго, Лариса ничего не знала о своемъ братѣ, людямъ же было известно лишь только то, что Іосафъ Платоновичъ вышелъ куда-то вскорѣ за бросившеся изъ дома барышней и не возвращался домой до вечера, а потомъ пришелъ, уложилъ самъ свои саквояжи, и какъ уѣхалъ, такъ уже и не возвращался. Къ разысканію его всѣмъ было принять самая тщательныя мѣры, заключающіяся у насъ, какъ известно, въ перепискѣ изъ части въ часть, изъ квартала въ кварталь,—мѣры, приносящія какую-нибудь пользу тогда лишь, когда тотъ, о комъ идетъ дѣло, самъ желаетъ быть пойманнымъ.

Прошелъ мѣсяцъ, а о Висленевѣ не было ни слуху, ни духу. Исчезновеніе его было загадкой и для сестры его, и для тетки, которая писали ему въ Петербургъ на имя его жены, но письма ихъ оставались безъ отвѣта, — на что, впрочемъ, и Катерина Астафьевна, и Лариса, занятая положенiemъ ближайшихъ къ нимъ лицъ, не слишкомъ и сѣтовали. Но наконецъ пришелъ отвѣтъ изъ Петербурга путемъ

официальнымъ. Мѣстная предержащая власть сносилась съ подлежащею властью столицы о разысканіи Висленева и получила извѣстіе, что Іосафъ Платоновичъ въ Питерѣ не появлялся. Да и зачѣмъ ему было туда ѿхать? Чтобы попасть въ лапы своей жены, отъ которой онъ во время своей кочевки уже немножко эмансирировался? Онъ даже льстилъ себя надеждой вовсе отъ нея освободиться и начать свое «независимое существованіе», на что приближающееся его сорокалѣтіе давало ему въ собственныхъ глазахъ нѣкоторое право. Но куда онъ исчезъ и пропалъ? Это оставалось тайной для всѣхъ... для всѣхъ, кроме одного Горданова, который недѣли чрезъ днѣ послѣ исчезновенія Висленева получилъ изъ-за границы письмо, писанное рукой Іосафа Платоновича, но за подписью *Espérance*. Въ этомъ письмѣ злополучная *Espérance*, въ которой Гордановъ отгадалъ брата Ларисы, жаловалась безжалостному Павлу Николаевичу на преслѣдующую ее роковую судьбу и просила его «во имя ихъ прежнихъ отношеній» прислать ей денегъ на имя общаго ихъ знакомаго Joseph W. Гордановъ прочелъ это письмо и бросилъ его безъ вся资料 вниманія. Онъ, во-первыхъ, не видѣлъ въ эту минуту никакой надобности дѣлиться чѣмъ бы то ни было съ Висленевымъ, а во-вторыхъ, ему было и недосужно. Павель Николаевичъ самъ собирался въ путь и преодолѣвалъ затрудненія, возникавшія предъ нимъ по случаю собственной его подсудимости. Препятствія эти казались неодолимыми, но Гордановъ побороль ихъ и, съ помощью ходатайствовавшаго за него передъ властями Бодростина, уѣхалъ въ Петербургъ къ Михаилу Андреевичу, оставилъ по себѣ поручительство, что онъ явится къ слѣдствію, когда возврашеніе къ Подозерову сознанія и силь сдѣлаетъ возможными нужные съ его стороны показанія. Гордановъ представилъ цѣлый рядъ убѣдительнѣйшихъ доказательствъ, что весьма важныя предпріятія потерпяты и разрушатся отъ стѣсненія его свободы, и стѣсненіе это было расширено. Въ напѣ вѣкъ предпріятій нельзя отказывать въ такихъ мелочахъ крупному предпринимателю, какимъ несомнѣнно представлялся Гордановъ всѣмъ или почти всѣмъ, кроме развѣ Подозерова, Форова, Катерины Астафьевны и генеральши, которые считали его не болѣе какъ большимъ мошенникомъ. Но имъ было теперь не до него; одинъ изъ этихъ людей лежалъ на краю гроба, другой философствовалъ.

валь въ острогъ, а женины переходили отъ одного страдальца къ другому и не останавливались на томъ, что дѣлается съ негодяями.

Было и еще одно лицо, которое и эту оцѣнку для Горданова признавало слишкомъ преувеличеною: это лицо, находившее, что для Павла Николаевича слишкомъ много, чтобы его признавали «большимъ мошенникомъ», была Глафира Васильевна Бодростина, непостижимо тихо и ловко спрятавшаяся отъ молвы и очей во время всей послѣдней передряги по поводу поединка. Она уѣхала въ деревню и во все это время, употребляя ея же французскую фразеологію, она была *sous le banc*. При всемъ провинциальному досужествѣ, про нее никто не вспомнилъ ни при одной смытѣ. Но она не забыла своихъ слугъ и друзей. Ея ловкая напрактикованная горничная пріѣзжала въ городъ и была два раза у Горданова. Глафира Васильевна, очевидно, была сильно заинтересована тѣмъ, чтобы Павель Николаевичъ получилъ возможность выѣхать въ Петербургъ, но во всѣхъ хлопотахъ объ этомъ она не приняла ни малѣйшаго, по крайней мѣрѣ видимаго, участія. Ея словно не было въ живыхъ и о ней только невзначай вспомнили два или три человѣка, которые, возвращаясь однажды ночью изъ клуба, неожиданно увидѣли слабый свѣтъ въ окнахъ ея комнаты; но и тутъ, по всѣмъ наведеннымъ на другой день справкамъ, оказалось, что Глафира Васильевна пріѣзжала въ городъ на короткое время и затѣмъ выѣхала. Куда? Объ этомъ узнали не скоро. Она уѣхала не назадъ въ свою деревню, а куда-то далеко: одни предполагали, что она отправилась въ Петербургъ, чтобы, пользуясь болѣзнью Горданова, отговорить мужа отъ рискованного предпріятія устроить фабрику мясныхъ консервовъ, въ которое вовлекъ его этотъ Гордановъ, давній врагъ Глафиры, котораго она ненавидѣла; другие же думали, что она, разссорясь съ мужемъ, поѣхала кутнуть за границу. Сколько-нибудь достовѣрныхъ свѣдѣній о направленіи, принятомъ Глафиroy, имѣлъ одинъ лишь торопливо отѣзжавшій изъ города Павель Николаевичъ Гордановъ, но онъ, разумѣется, никому объ этомъ ничего не говорилъ. Откровенность въ этомъ случаѣ не была въ его планахъ, да ему было некогда: онъ самъ только - что получилъ разрешеніе сѣздить подъ поручительствомъ въ Петербургъ и торопился несказанно. Эта торопливость его

въ значительной мѣрѣ поддерживала то мнѣніе, что Бодро-стина побѣхала къ мужу разрушать пагубное вліяніе на него Горданова, и что сей послѣдній гонится за нею, открывая такимъ образомъ игру въ кошку и мышку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Кошка и мышка.

Въ догадкѣ этой было пѣчто намекающее на что-то существовавшее на самомъ дѣлѣ. Гордановъ и Глафира должны были встрѣтиться, но какъ и гдѣ?.. На это у нихъ было расписаніе.

Подъѣзжая къ московскому дебаркадеру желѣзной дороги, по которой Гордановъ утекалъ изъ провинціи, онъ тревожно смотрѣлъ изъ окна своего вагона и вдругъ покраснѣлъ, увидѣвъ прохаживающуюся по террасѣ высокую даму въ длинной бархатной тальмѣ и такой же круглой шляпѣ, съ густымъ вуalemъ. Дама тоже замѣтила его въ окнѣ, и они оба кивнули другъ другу и встрѣтились на платформѣ безъ удивленія неожиданности, какъ встрѣчаются два агента одного и того же дѣла, сѣхавшіеся по своимъ обязанностямъ. Дама эта была Графира Васильевна Бодростина.

— *Vous êtes bien aimable*,—сказалъ ей Гордановъ, сходя и протягивая ей свою руку.—Я никакъ не ожидалъ, чтобы вы меня даже встрѣтили.

Бодростина вмѣсто отвѣта спокойно подала ему свою правую руку, а лѣвою откинула вуаль. Она тоже нѣсколько перемѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ мы ее видѣли отъѣзжавшую изъ хуторка генеральши съ потерпѣвшимъ тогда неожиданное пораженіе Гордановымъ. Глафира Васильевна немнога поблѣднѣла, и прекрасные говорящіе глаза ея утратили свою беспокойную тревожность: они теперь смотрѣли сосредоточеннѣе и спокойнѣе, и на всемъ лицѣ ея выражалась сознательная рѣшимость.

— Я вѣсть ждала съ нетерпѣніемъ,—сказала она Горданову, сходя съ нимъ подъ руку съ крыльца дебаркадера вслѣдъ за носильщиками, укладывавшими на козлы наемной кареты щегольскіе чемоданы Павла Николаевича. — Мы должны видѣться здѣсь въ Москвѣ самое короткое время и потомъ разстаться, и, можетъ-быть, очень надолго.

— Ты развѣ не ѿдешь въ Петербургъ?

— Я въ Петербургъ не ѿду; вы поѣдете туда один и непремѣнно завтра же; я тоже уѣду завтра, но памъ не одна дорога.

— Ты куда?

— Я ѿду за границу, ну садись, пожалуйста, въ карету; теперь мы еще ѿдемъ вмѣстѣ.

— Я не рѣшилъ, гдѣ мнѣ остановиться,—проговорилъ Гордановъ, усаживаясь въ экипажъ. — Ты гдѣ стоишь? Я могу пристать гдѣ-нибудь поближе или возьму номеръ въ той же гостиницѣ.

— Вы остановитесь у меня, — отвѣтила ему скороговоркой Бодростина и, высунувшись изъ окна экипажа, велѣла кучеру ѿхать въ одну изъ извѣстнѣйшихъ московскихъ гостиницъ.

— Я тамъ живу уже недѣлю въ ожиданіи моего мужа,— добавила она, обращаясь къ Горданову. — У меня большой семейный номеръ, и вамъ вовсе нѣтъ нужды искать для себя другого помѣщенія и понапрасну проискрываться въ Москвѣ.

— Ты, значитъ, дѣлаешь меня на это время своимъ мужемъ? Это очень обязательно съ твоей стороны.

Бодростина равнодушно посмотрѣла на него.

— Что ты на меня глядишь такимъ уничтожающимъ взглядомъ?

— Ничего, я такъ только немножко вамъ удивляюсь.

— Чему и въ чемъ?

— Намъ не къ лицу эти лица. Я везу васъ къ себѣ просто для того, чтобы вы не прописывали въ Москвѣ своего имени, потому что вамъ его, можетъ-быть, не совсѣмъ удобно выставлять на коридорной дощечкѣ, мимо которой ходятъ и читаютъ всѣ и каждый.

— Да, понимаю, понимаю. Довольно.

— Кажется, понятно.

И затѣмъ Глафира Васильевна, не касаясь никакихъ воспоминаний о томъ, что было въ покинутомъ захолустѣ, не особенно сухимъ, но серьезнымъ и дѣловымъ тономъ заговорила съ Гордановымъ о томъ, что онъ долженъ совершить въ Петербургѣ въ качествѣ ея агента при ея мужѣ. Все это заключалось въ нѣсколькихъ словахъ, что Павель Николаевичъ долженъ способствовать старческимъ слабо-

стямы Михаила Андреевича Бодростина къ графинѣ Казимирѣ и спутать его съ нею какъ можно скандальнѣе и крѣпче. Гордановъ все это слушалъ и наконецъ возразилъ, что онъ только не понимаетъ, зачѣмъ это нужно, ио не получиль никакого отвѣта, потому что экипажъ въ это время остановился у подъѣзда гостиницы.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Nota bene на всякий случай.

Номеръ, который занимала Бодростина, состоялъ изъ четырехъ комнатъ, хорошо меблированныхъ и устланныхъ сплошь пушистыми, нѣкогда весьма дорогими коврами. Комнаты отдѣлялись одна отъ другой массивными перегородками изъ орѣхового дерева, съ тяжелою рѣзьбой и точечными украшеніями въ полуготическомъ, полурусскомъ стилѣ. Длинная комната направо изъ передней была занята подъ спальню и дорожный будуаръ Глафиры, а квадратная комнатка безъ окна, влѣво изъ передней, вмѣщала въ себѣ застланную свѣжимъ бѣльемъ кровать, комодъ и нѣсколько стульевъ.

Эту комнату Глафира Васильевна и отвела Горданову и велѣла въ ней положить прибывшиѳ съ нимъ пожитки.

— Гдѣ же ваша собственная прислуга?—полюбопытствовалъ Гордановъ, позируя и оправляясь предъ зеркаломъ въ ожиданіи умыванья.

— Со мною нѣтъ здѣсь собственной прислути,—отвѣчала Бодростина.

— Такъ вы путешествуете однѣ?

Глафира Васильевна слегка прижала нижнюю губу и склонила голову, чтѣ Гордановъ могъ принять и за утвердительный отвѣтъ на его предположеніе, но что точно такъ же удобно было отнести и просто къ усиливъ, съ которыми Бодростина въ это время открывала свой дорожный письменный бюваръ.

Пока Павель Николаевичъ умывался и прихорашивался, Бодростина писала, и когда Гордановъ взошелъ къ ней съ сигарой въ зубахъ, одѣтый въ тепленькую плюшевую курточку цвѣта шерсти молодого бобра, Глафира подняла на него глаза и, улыбнувшись, спросила:

— Чтѣ это за костюмъ?

— А что такое? — отвѣчалъ, оглядываясь, Гордановъ.— Что за вопросъ? а? что тебѣ кажется въ моемъ платьѣ?

— Ничего... платье очень хорошее и удобное, чтобы отъ долговъ бѣгать. Но какъ вы стали тревожны!

— Чему же вы это приписываете?

Бодростина пожала съ чуть замѣтною улыбкой плечами и отвѣчала:

— Вѣроятно, продолжительному сношению съ глупыми людьми: это злить и портить характеръ.

— Да; вы правы—это портить характеръ.

— Особенно у тѣхъ, у кого онъ и безъ того былъ всегда гадокъ.

Гордановъ хотѣлъ отшутиться, но, взглянувъ на Бодростины и видя ее снова всю погруженную въ писаніе, походилъ, посвисталъ и скрылся назадъ въ свою комнату. Тутъ онъ пошуршалъ въ своихъ саквояжахъ и, появясь черезъ нѣсколько минутъ въ пальто и въ шляпѣ, сказалъ:

— Я пойду пройдусь.

— Да; это прекрасно,—отвѣчала Бодростина:—только закутывайся хорошоенько повыше кашне и надвигай пониже шляпу.

Гордановъ слегка покраснѣлъ и процѣдилъ сквозь зубы:

— Ну, ужъ это даже не совсѣмъ и остроумно.

— Я вовсе и не хочу быть съ вами остроумною, а говорю просто. Вы въ самомъ дѣлѣ подите походите, а я здѣсь кончу нужные письма, и въ пять часовъ мы будемъ обѣдать. Здѣсь прекрасный поварь. А кстати, можете вы мнѣ оказать услугу?

— Сдѣлайте одолженіе, приказывайте,—отвѣчаль сухо Гордановъ, подправляя рукой загибъ своего мѣхового воротника.

— J'ai bon appétit aujourd'hui. Скажите, пожалуйста, чтобы для меня, между прочимъ, велѣли приготовить fricandeau sauce piquante. C'est délicieux, et j'espère que vous le trouverez à votre goût.

— Извольте,—отвѣчаль Павель Николаевичъ и, поворотясь, вышелъ въ коридоръ.

Это его обидѣло.

Онъ позвалъ слугу тотчасъ, какъ только переступилъ порогъ двери, и передалъ ему приказаніе Бодростины. Онъ исполнилъ все это громко, нарочно съ тѣмъ, чтобы Гла-

фира слышала, какъ онъ обошелся съ ея порученiemъ, въ которомъ Павелъ Николаевичъ видѣлъ явную цѣль его унизить.

Гордановъ былъ жестоко золь на себя и, быстро шагая по косымъ тротуарамъ Москвы, проводилъ самыя нелестныя для себя параллели между самимъ собою и своимъ *bête noire*, Госафомъ Висленевымъ.

— Недалеко, недалеко я отбѣжалъ отъ моего бѣднаго пріятеля,—говорилъ онъ, вспоминая свои собственныя про дѣлки съ наивнымъ Жозефомъ и приводя въ сопоставленіе съ ними то, что можетъ дѣлать съ нимъ Водростина. Онъ все болѣе и болѣе убѣждался, что и его положеніе въ сущности немного прочнѣе положенія Висленева.

— Не все ли равно,—разсуждалъ онъ: — я верховодиль этимъ глупымъ Ясафкой по поводу сотни рублей; мною точно такъ же верховодять за нѣсколько большія суммы. Мы оба одного разбора, только разныхъ сортовъ, оба лѣнтия, оба хотѣли подняться на фу-фу, и одна намъ и честь,

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Итогъ для новой смѣты.

Гордановъ припомнилъ, какія онъ роли отыгрывалъ въ пропинціи и какой страхъ нагонялъ онъ тамъ на добрыхъ людей, и ему даже стало страшно.

— Что,—соображалъ онъ:—если бъ изъ нихъ кто-нибудь зналъ, на какомъ тонкомъ-претонкомъ волоскѣ я мотаюсь? Если бы только кто-нибудь изъ нихъ проюхалъ, что у меня подъ ногами нѣть никакой почвы, что я зависимъ каждого изъ нихъ, и что пропустить меня и сквозь сито, и сквозь рѣшето зависитъ вполнѣ отъ одного каприза этой женщины?.. Какъ бы презираль меня самый презрѣнныи изъ нихъ! И онъ бы правъ и тысячу разъ правъ.

— Но полно, такъ ли? Отъ каприза ли ея я, однако, завису?—разсуждалъ онъ далѣе, приподымя слегка голову.—Нѣть; я ей нуженъ: я ея сообщникъ, я ея *bravo*, ея наемный убийца; она не можетъ безъ меня обойтись... Не можетъ?.. А почему не можетъ?.. Во мнѣ есть рѣшительность, есть воля, есть характеръ,—однимъ словомъ, во мнѣ есть свойства, на которыхъ она разсчитываетъ и которыхъ нѣть у каждого встрѣчного-шоперечнаго... Но развѣ только одинъ

путь, одно средство, которымъ она можетъ... развѣнчаться... избавиться отъ своего супруга... сбить его и извести. И наконецъ, чтѣ у нея за думы, чтѣ у нея за запутанные планы? Просто не разберешь подчасъ, дѣлаетъ она что или не дѣлаетъ? Одно только мое большое и основательное знаніе этой женщины ручается мнѣ, что она что-то заводитъ, — заводить далекое, прочное; что она облагаетъ насть цѣлымъ лагеремъ и именно *насъ*, т. е. всѣхъ настъ, — не одного Михаила Андреевича, а всѣхъ какъ есть, и меня въ томъ числѣ, и даже меня, можетъ-быть, первого. Какой демонъ, какая страшная женщина! Я ничего не видаль, я не успѣлъ опомниться, какъ она опутала! Страшно представить себѣ, какая глубокая и въ то же время какая скверная для меня разница между тѣмъ положенiemъ, въ какомъ я видѣлся съ нею тамъ, въ губернской гостинице, въ первую ночь моего приѣзда, и теперь... когда она сама меня встрѣчаетъ, сама меня снаряжаетъ наемнымъ Мефистофелемъ къ своему мужу, и между тѣмъ обращается со мною какъ со школьнікомъ, какъ съ влюбленнымъ гимназистомъ! Это чортъ знаетъ что такое! Она не удостоиваетъ отвѣта моихъ попытокъ узнать, чтѣ такое всѣ мы выплясываемъ по ея дудкѣ! И... посыаетъ меня заказывать фрикандо къ обѣду. Ея нынѣшнее обращеніе съ мною ничѣмъ не цѣнѣе нѣкогда столь смѣшной для меня встрѣчи Висленева съ его генеральшей, а между тѣмъ Висленевъ отпѣтый, патентованный гороховый щутъ и притча во языцѣхъ, а я... во всякомъ случаѣ человѣкъ, надъ которымъ никто никогда не смеялся...

Гордановъ, все краснеющій по мѣрѣ развитія этихъ думъ, вдругъ остановился, усмѣхнулся и плонулъ. Вокругъ него трещали экипажи, сновали пѣшеходы, въ воздухѣ летали хлопья мягкаго снѣгу, а на мокрыхъ ступеняхъ Иверской часовни стояли черныя, перемокшія монахини и кланялся народъ.

— Какъ никто? Какъ никто не смеялся? — мысленно вопрошалъ себя Гордановъ и отвѣчалъ съ ироніей: — А Клишенскій, а Алинка? развѣ не по ихъ милости я разоренъ и отброшенъ чортъ знаетъ на какое разстояніе отъ исполненія моего вѣрнѣйшаго и блестящаго плана? Нѣть; я только честнымъ людямъ умѣю не позволять наступать себѣ на ногу... я молодецъ на овецъ, а на молодца я самъ овца...

Да, да; меня спутало и погубило это якшанье со всею этой принципиально сволочью, которая обворовала меня кругомъ... Но ничего, друзья, ничего. Палача, прежде чѣмъ сдѣлать палачомъ, тоже пороли, — выпороли и вы меня, и еще до сихъ поръ все порете; но уже зато какъ я оттерилъся, да васъ вздую, такъ вамъ небо покажется съ баранью овчинку!

Павель Николаевичъ крякнуль, повернувшись спиной къ Иверской часовнѣ, и, перейдя площадь, зашелъ въ Гуринский трактиръ, усѣлся къ столику и спросилъ себѣ чаю.

«Да; къ чорту это все! — думаль онъ: — нечего себя обольщать, но нечего и робѣть. Глафира, чортъ ее знаетъ,— она, кажется, несомнѣнно умиѣе меня, да и потомъ у нея въ рукахъ вся сила. Я уже сдѣлалъ промахъ, страшный промахъ, когда я по одному ея слову рѣшился рвать всѣмъ носы въ этомъ пошломъ городишкѣ! Глушецъ, я взялся за роль страшнаго и непобѣдимаго силача съ пустыми пятью-шестью тысячами рублей, который она мнѣ сунула, какъ будто я не могъ и не долженъ бытъ предвидѣть, что этимъ широкимъ разгономъ моей бравурий репутациіи на малая средства она береть меня въ свои лапы; что, издержавъ эти деньги, — какъ это и случилось теперъ, — я долженъ испенуться со всей высоты моего аршиннаго величія? А вотъ же я этого не видѣль; вотъ же я... я... умникъ Гордановъ, этого не предусмотрѣль! Правду говорить: кто получаетъ женщину, тотъ готовить на себя палку... И еще я имѣль глупость часть тому назадъ лютовать! И еще я готовъ бытъ изыскивать средство дать ей отпоръ... возмутиться... Противъ кого? Противъ нея, противъ единственнаго лица, держась за которое я долженъ выплыть на берегъ! И изъ-за чего я хотѣль возмутиться? Изъ-за самолюбія, оскорблений которого никто не видитъ, между тѣмъ какъ я могу быть вынужденъ переносить не такія оскорблениія на виду у цѣлаго свѣта? Развѣ же не чистѣйшая это гиль теперъ, мое достоинство? А ну его къ дьяволу! Смирюсь, смирю себѣ предъ нею ^{до} чего она хочетъ; спесу отъ нея все! Нусть это будетъ мой самый трудный экзаменъ въ борьбѣ за существование, и я долженъ его выдержать, если не хочу погибнуть, — и я не погибну. Она увидить, велика ли была ея проницательность, когда она располагала на мою «каторжную честность». Нѣть, дружокъ: *à la guerre comme à*

la guerre. Хитра ты, да вѣдь и я не промахъ: любуйся же теперь моей несмѣлостю и смиренiemъ: богатство и власть надъ Ларисой стоять того, чтобы мнѣ еще потерпѣть горя; но разъ, что кончимъ мы съ Бодростинъмъ и ты будешь моя жена, а Лариса будетъ моя невольница... моя рыдающая Агарь... а я тебя... въ бараній рогъ согиу!..»

И съ этимъ Гордановъ опять всталъ, бросилъ на столь деньги за чай и ушелъ.

«Вотъ только одно бы мнѣ еще узнать,—думалъ онъ, ъдучи на извозчикъ: — любить она меня хоть капельку, или не любить? Ну, да и прекрасно; нынче мы съ нею все время будемъ одни... Не все же она будетъ тонировать да писать, авось и иное что будетъ?.. Да что же вправду, вѣдь женщина же она и человѣкъ!.. Вѣдь я же знаю, что кровь, а не вода течетъ въ ней... Ну, ну, постой-ка, чтѣ ты заговоришь предъ напимъ смиренствомъ... Эхъ, гдѣ ты матерь черная немочь съ лихорадушкой?»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Черная немочь.

На дворѣ уже по-осеннему стемнѣло и было чистъ обѣда, къ которому Глафира Васильевна ждала Горданова, полуложа съ книгой на небольшомъ диванчикѣ предъ сервированнымъ и освѣщеннымъ двумя жирандолями столомъ.

Гордановъ вошелъ и тихо снялъ свое верхнее платье. Глафира взглянула на его прояснившееся лицо и въ ту же минуту поняла, что Павелъ Николаевичъ обдумалъ свое положеніе, взвѣсилъ всѣ pro и contra и рѣшился не замѣтить ея первенства и господства, и она его за это похвалила.

«Умный человѣкъ!—мелькнуло въ ея головѣ. — Что хотите, а съ такимъ человѣкомъ все легче дѣлается, чѣмъ съ межеумкомъ», и она ласково позвала Горданова къ столу, усердно его угощала и даже обмолвилась съ нимъ на «ты».

— Кушай хорошенъко,—сказала она:—на хлѣбъ, на соль умные люди не дуются. Знаешь пословицу: губа толще, брюхо тоньше,—а ты и такъ не жиренъ. Ъшь вотъ эту штучку,—угощала она, подвигая Горданову фрикасе изъ маленькихъ пичужекъ:—я это нарочно для тебя заказала, зная, что это твое любимое.

Гордановъ тоже уразумѣлъ, что Глафира поняла его и одобрила, и ласкаетъ, какъ покорившагося ребенка. Онъ уразумѣлъ и то, что этой покорностью онъ еще разъ капитулировалъ, но онъ уже рѣшился довершить въ смиреніи свою «борьбу за существованіе» и не стоялъ ни за что.

— Вотъ видишь ли, Павель, какъ только ты вырвался отъ дураковъ и побыть часть одинъ самъ съ собою, у тебя даже видъ сдѣлался умнѣй,—заговорила Бодростина, оставшись одна съ Гордановымъ за десертомъ.—Теперь я опять на тебя надѣюсь и полагаюсь.

— А то ты уже было перестала и надѣяться?

— Я даже отчаялась.

— Я не понималъ твоихъ требованій и только, но я буду радъ, если ты мнѣ теперь разскажешь, чѣмъ ты мною недовольна? Вѣдь ты мною недовольна?

— Да.

— За что?

— Спроси свою совѣсть?—отвѣтала, глядя на носокъ своей туфли, Глафира.

Гордановъ просіялъ; онъ услышалъ въ этихъ словахъ укоризну ревности и, тихо вставъ съ своего мѣста, подошелъ къ Глафиры и, наклонясь, поцѣловалъ ея лежавшую на колѣняхъ руку.

Она этому не мѣшала.

— Глафира!— позвалъ Гордановъ.

Отвѣта не было.

— Глафира! Радость моя! Мое счастье, отклиknись же!.. дай мнѣ услышать твое слово!

— Радость твоя не Глафира.

— Нѣть? Что ты сказала? Развѣ не ты моя радость?

— Нѣть.

— Нѣть? Такъ скажи же мнѣ прямо, Глафира; ты можешь что-нибудь сказать *прямо*?

— Что за вопросъ! Разумѣется, я вамъ могу и смѣю все говорить *прямо*.

— Безъ шутокъ?

— Спрашивай и увидишь.

— Ты хочешь быть моей женой?

— Н... и... ну, а какъ тебѣ это кажется?

— Мнѣ кажется, что нѣть. Чѣмъ ты на это скажешь?

— Ничего.

— Это развѣтъ?

— Разумѣется, и самый искренній... Я не знаю, что ты для меня сдѣлаешь.

Гордановъ сѣлъ у ея ногъ и, взявъ въ свои руки руку Глафиры, прошепталъ, глядя ей въ глаза:

— А если я сдѣлаю *все*... тогда?

— Тогда? Я тоже сдѣлаю *все*.

— То-есть, что же именно ты сдѣлаешь?

— Все, что будетъ въ моихъ силахъ.

— Ты будешьъ тогда мою женой?

Глафира наклонила молча голову.

— Что же это значить: да или нѣть?

— Да, и это можетъ случиться,—уронила она, улыбаясь.

— Можетъ случиться!.. Здѣсь случай не долженъ имѣть мѣста!

— Онъ имѣсть мѣсто повсюду.

— Гдѣ нѣть воли.

— И гдѣ она есть.

— Это вздоръ.

— Это высшая правда.

— Высшая?.. Въ какомъ это смыслѣ: въ чрезвычайномъ, можетъ-быть, въ сверхъестественномъ?

— Можетъ-быть.

— Скажи, пожалуйста, яснѣй? Мы не ребята, чтобы сверхъ-естественностями заниматься. Кто можетъ тебѣ помѣшать быть мою женой, когда мы покончимъ съ Водостинымъ?

— Тсъ!.. Тише!

— Ничего: мы здѣсь одни. Ну, говори: кто, кто?

— Почемъ я знаю, что и кто? Да и къ чему ты хочешь словъ?

Она положила ему на лобъ свою руку и, поправляя пальцемъ набѣжавшій впередъ локонъ волосъ, прошептала:

— Да... вотъ мы и одни... «какое счастье: ночь и мы одни». Чьи это стихи?

— Фета: но не въ этомъ дѣло, а говори мнѣ прямо, кто и что можетъ мѣшать тебѣ выйти за меня замужъ, когда не будетъ твоего мужа?

— Тссъ!

Глафира быстро откинулась назадъ къ спинкѣ дивана и сказала:

— Ты глупъ, если позволяешь себѣ такъ часто повторять это слово.

— Но мы одни.

— Одни!.. Во снѣ не бредь о томъ, чѣмъ занять,—кики-мора услышитъ.

— Я не боюсь кикиморы; я не суевѣръ.

— Ну, такъ я суевѣрка и прошу не говорить со мной иначе, какъ съ суевѣркой.

— Ага, ты меня отводишь отъ прямого отвѣта; но это тебѣ не удастся.

— Отчего же?—И Глафира тихо улыбнулась.

— Оттого, что я не такой вздорный человѣкъ, чтобы меня можно было втравить въ споръ о вѣрѣ или безвѣріи, о Богѣ или о демонѣ: вѣрь или не вѣрь въ нихъ,—мнѣ это все равно, но отвѣчай мнѣ ясно и положительно: кто и что тебѣ можетъ помѣшать быть моей женой, когда... когда Бодростина не будетъ въ живыхъ.

— Совѣсть: я никогда не захочу разстраивать чужого счастья.

— Чьего счастья? Чѣд за вздоръ.

— Счастья бѣдной Лары.

— Ты лжешь; ты знаешь, что я не думаю на ней жениться и не женюсь.

— А, жаль, она глупа и будетъ скверною женой.

— Мнѣ это все равно, ты не заговоришь меня ни Ларой и ничѣмъ на свѣтѣ; дай мнѣ отвѣтъ, чѣд можетъ помѣшать тебѣ быть моей женой, и тогда я отстану!.. А, а! ты молчишь, ты не знаешь, куда еще увилинуть! Такъ знай же, что я знаю, кто и что тебѣ можетъ помѣшать! Ты любишь! Ты поймана! Ты любишь не меня, а Подозе...

Но Глафира быстрымъ движеніемъ руки захватила ему ротъ и воскликнула:

— Вы забываетесь, Гордановъ!

— Да, да, ты можешь дѣлать все, что тебѣ угодно, но это тебѣ не поможетъ; я далъ себѣ слово добиться отвѣта, кто и что можетъ тебѣ помѣшать быть моей женой, и я этого добьюсь. Болѣе: я это проникъ и почти уже всего добился; твое смущеніе мнѣ сказало, кто...

— Кто?.. Кто?.. Кто?..—перебила его рѣчь, проникшаяся вдругъ внезапнымъ беспокойствомъ, Глафира.—Ты проникъ... ты добился...

И съ этими словами, она вдругъ сдѣала порывистое движенье впередъ и, стукнувъ три раза кряду похолодѣвшими бѣлыми пальцами въ жаркій лобъ Горданова, прошептала:

— А кто помѣшилъ тебѣ убить того, кого ты сейчасъ назвалъ?

Гордановъ молчалъ.

— Что же ты молчишь?

— Что же говорить? Его спасъ «тикъ и такъ»; это рѣдкостнѣйший случай.

— Рѣдкостный случай? Случай!.. Случай сталь между твою рукою и его беззащитною грудью?..

— Да, «тикъ и такъ».

— Да, «тикъ и такъ»; это случай? — шептала Бодростина. — Много вы знаете съ своимъ «тикъ и такъ».

— А что же по-твоему его спасло?

— Я это знаю.

— Такъ скажи.

— Изволь: уйди-ка вонъ туда, за ту перегородку, и посмотри въ уголь.

— Что же я тамъ увижу?

— Не знаю; посмотри, что-нибудь увидишь.

Гордановъ всталъ и, заглянувъ за дверь въ полутемную комнату, въ которую слабый свѣтъ чуть падалъ черезъ рѣзную кайму орѣховой перегородки, сказалъ:

— Что же тамъ смотрѣть? платье, да тѣнь.

— Что такое: какъ платье, да тѣнь?

— Тамъ платье.

— Какое платье? Тамъ вовсе нѣть никакого платья. Тамъ образъ, и я хотѣла указать на образъ.

— А я тамъ вижу платье, зеленое женское платье.

Бодростина поблѣднѣла.

— Ты его видишь и теперь? — спросила она падающимъ ч прерывающимся голосомъ.

Гордановъ опять посмотрѣль и, отвѣтивъ наскоро: «нѣть, теперь не вижу», схватилъ одну жирандолъ и вышелъ съ нею въ темную комнату.

Уголь былъ пустъ, и сверху его на Горданова глядѣль благой, успокаивающій ликъ Спасителя. Гордановъ постояль и затѣмъ, возвратясь, сказалъ, что дѣйствительно уголь пустъ и платья никакого нѣть.

— Я знаю, знаю, знаю,—прошептала въ отвѣтъ ему Бодростина, которая сидѣла, снова прислонясь къ спинѣ дивана и, глядя вдаль прищуренными глазами, тихо обирала вѣтку винограда.

Ио вдругъ, сорвавъ устами послѣднюю ягоду съ виноградной кисти, она сверкнула на Павла Николаевича гнѣвнымъ взглядомъ и, замѣтивъ его покушеніе о чёмъ-то ее спросить, простонала:

— Молчи, пожалуйста, молчи!—И съ этимъ нервно кинула ему въ лицо оборванную кисть и, упавъ лицомъ и грудью на подушку дивана, тихо, но неудержимо зарыдала.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Нѣмая исповѣдь.

Гордановъ стоялъ надъ плачущей Глафиroy и, кусая слегка губу, думалъ: «Ого-го! Куда это, однако, зашло. И корчить, и ломаеть. О, лукавая! Я дошелъся до твоего злого лиха. Но дѣло, однако, зашло слишкомъ далеко, она его любить не только со всею страстью, къ которой она способна, но и со всею сентиментальностью, безъ которой не обходится любовь подобныхъ ей погулявшихъ барынь. Это надо покончить!» И съ этимъ онъ сдѣлалъ шагъ къ Глафирѣ и коснулся слегка ея локтя, но тотчасъ же отскочилъ, потому что Глафира рванулась какъ раненая львица, и съ судорожно подергивающимися щеками, вперивъ острые, блуждающіе глаза въ Горданова, заговорила:

— Да, да, да, есть... есть... его нѣть, но энъ есть, есть оно...

— О чѣмъ ты говоришь?

Глафира не обращала на него вниманія и продолжала какъ бы сама съ собой.

— Нѣть, это нестерпимо! Это несносно!—восклицала она слово отъ слова все громче и болѣзненнѣе, и при этомъ то ломала свои руки, то, хрустя ими, ударяла себя въ грудь, и вдругъ, какъ бы окаменѣвъ, заговорила быстрымъ истерическимъ шепотомъ: — Это зеленое платье... ты видѣлъ его, и я его видѣла... Его нѣть и оно есть... Это она... я ее знаю и ты, ты тоже узнаешьъ, и...

— Кто же это?

— Совѣсть.

— Успокойся, чтò съ тобою сдѣлалось! Какъ ты ужасно взволнована!

— Нѣть, я ничего...

И Бодростина тихо подала Горданову обѣ свои руки и задумалась и поникла головой, словно забылась. Павель Николаевичъ подаль ей стаканъ воды, она его спокойно выпила.

— Лучше тебѣ теперь?—спросилъ онъ.

— Да, мнѣ лучше.

Она возвратила Горданову стаканъ, который тотъ принялъ изъ ея рукъ, и, поставивъ его на столъ, проговорилъ:

— Ну, и прекрасно, что лучше; но этого, однако, нельзя такъ оставить; ты больна.—И съ этимъ онъ направился къ двери, чтобы позвонить служу и послать за докторомъ, но Глафира, замѣтивъ его намѣреніе, остановила его.

— Павель! Павель!—позвала она.—Что это? Ты хочешь посыпать за докторомъ? Какъ это можно! Нѣть, это все пройдетъ само собой... Это со мной бываетъ... Я стала очень нервна и только... Я не знаю, чтò со мной дѣлается.

— Да, вотъ и не знаешь, чтò это дѣлается! Вотъ вы и все такъ, подобныя барыни: жизни въ васъ въ каждой въ одной за десятерыхъ, жизнь борется, бьется, а вы ее въ тискахъ жмете...—заговорилъ было Гордановъ, желая прервать потокъ болѣзненныхъ мечтаний Бодростины, но она его сама перебила.

— Тссъ! Перестань... Какая жизнь и куда ей рваться?.. Глупость. Совсѣмъ не то!

И она опять хрустнула сложенными въ воздухъ руками, потомъ ударила ими себя въ грудь и снова, задыхаясь, прошептала:

— Дай мнѣ воды... скорѣй, скорѣй воды!—И жадно глотая глотокъ за глоткомъ, она продолжала шопотомъ:—Бога ради не бойся меня и ничего не пугайся... Не зови никого... не надо чужихъ... Это пройдетъ... Мнѣ хуже, если меня боятся... Зачѣмъ чужихъ? Когда мы двое... мы... При этихъ словахъ она сдѣлала усилие улыбнуться и пошутила:—«Какое счастье: ночь и мы одни!» Но ее сейчасъ же снова передернуло, и она замигѣла:—Не мѣшай мнѣ: я въ памяти... я стараюсь... я помню... Ты сказалъ... это стихотвореніе Фета... «Ночь и мы одни!» Я помню, тамъ на хуторѣ у Синтианиной... есть портретъ... его замученной

жены... Портретъ безъ глазъ... Покойница въ такомъ зеленомъ платьѣ... какое ты видѣлъ... Молчи! молчи! не спорь... покойной мученицы Флоры... Это такъ нужно... Природа возмущается тѣмъ, что я дѣлаю... Гораціо! Гораціо!.. есть вещи... тѣ, которыхъ нѣтъ... Ему, ему онъ хотѣлъ слѣдовать — Гораціо! Гораціо! — И повторяя это имя по новоду известнаго намъ письма Подозерова, Глафира вдругъ покрылась вся пламенемъ, и холодныя руки ея, тихо лежавшія до сихъ поръ въ рукахъ Горданова, задрожали, зачорчились и, выскользнувъ на волю, стиснули его руки и быстро побѣжали вверхъ, какъ пальцы артиста, играющаго на флейтѣ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Безъ покаянія.

Въ комнатѣ царилъ нѣмой ужасъ. Руки больной Глафиры дрожа скользили отъ кистей рукъ Горданова къ его плечамъ, и то щипля, то скручивая рукава гордановскаго бархатнаго пиджака, взбѣжалъ вверхъ до его шеи, а оттуда обѣ разомъ упали внизъ на лацканы, схватились за нихъ и за петли, а на шипящихъ и ничего не выговаривающихъ устахъ Глафиры появилась тонкая свинцовая полоска мутной пѣни. Противный и ужасный видъ этой невольно отбросилъ Горданова въ сторону. Онъ отступилъ шагъ назадъ, но наткнулся сзади на табуретъ и еще ближе столкнулся лицомъ съ искаженнымъ лицомъ Глафиры, въ рукахъ которой трещали и отрывались все крѣиче и крѣиче забираемые ею лацканы его платья. Бодротина вся мѣнялась въ лицѣ и, дѣлая неимовѣрныя усилия возобладать надъ собою, напрасно старалась промолвить какое-то слово. Отъ этихъ усилий глаза ея, подъ вліяніемъ ужаса поразившей ее нѣмоты, и вертѣлись, и словно оборачивались внутрь. Гордановъ каждое мгновеніе ждалъ, что она упадетъ; но она одолѣла себя и, сдѣлавъ надъ собою послѣднее отчаянное усилие, однимъ прыжкомъ перелетѣла на средину комнаты, но здѣсь упала на полъ съ замершими въ ся рукахъ лацканами его пѣгольской бобровой курточки. Свинецъ съ устья ея исчезъ, и она лежала теперь съ закрытыми глазами, стиснувъ зубы, и тяжело дышала всею грудью.

Гордановъ бросился въ свою комнату, смынулъ пиджакъ и позвалъ дѣвушку и лакея.

Глафиру Васильевну подняли и положили на диванъ, распинуровали и прохладили ей голову компрессомъ. Черезъ нѣсколько минутъ она пришла въ себя и, поводя вокругъ глазами, остановила ихъ на Гордановѣ.

Дѣвушка въ это мгновеніе тихо вытянула изъ ослабѣвшихъ рукъ больной лацканы гордановской куртки и осторожно бросила ихъ подъ стулъ, откуда лакей также осторожно убралъ ихъ далѣе.

— Воздуху! — прошептала Глафира, остановивъ на Гордановѣ глаза, наполненные страха и страданія.

Тотъ понялъ и сейчасъ же распорядился, чтобы была подана коляска. Глафиру Васильевну вывели, усадили среди подушекъ, укутали ей ноги пледомъ и повезли, куда пошло, по освѣщенной луной Москвѣ. Рядомъ съ нею сидѣла горничная изъ гостиницы, а на передней лавочкѣ — Гордановъ. Ониѣздили долго, пока больная почувствовала усталость и позывъ ко сну; тогда они вернулись, и Глафира тотчасъ же легла въ постель. Дѣвушка легла у нея въ ногахъ на диванчикѣ.

Гордановъ спать мертвымъ сномъ и очень удивился, когда, проснувшись, услышалъ спокойный и веселый голосъ Глафиры, занимавшейся съ дѣвушкой своимъ туалетомъ.

«Неужто же,—подумалъ онъ:—все это вчера было притворство? Одно изъ двухъ: или она теперешнимъ весельемъ маскируетъ обнаружившуюся вчера свою ужасную болѣзнь, или она мастерски сыграла со мною новую плутовскую комедію, чтобы заставить меня оттолкнуть Ларису. Самъ дьяволъ ее не разгадаетъ. Она хочетъ, чтобы я бросилъ Ларису; будь по ея, я брошу мою Ларку, но брошу для того, чтобы крѣпче ее взять. Глафира не знаетъ, что мнѣ самому все это какъ нельзя болѣе на руку».

Съ этимъ онъ одѣлся, вышелъ въ залъ и, написавъ пять строкъ къ Ларѣ, положилъ въ незапечатанномъ конвертѣ въ карманъ и ждалъ Глафиры.

Предстоящи минуты очень интересовали его: онъ ждалъ отъ Глафиры «презрѣнаго металла» и... удостовѣренія, въ какой мѣрѣ сердце ея занято привязанностью къ другому человѣку: до того ли это дошло, что онъ, Гордановъ, ей

уже совсѣмъ противенъ до судорогъ, или... она его еще можетъ переносить, и онъ можетъ надѣяться быть ея мужемъ и обладателемъ какъ бодростинскаго состоянія, такъ и красоты Ларисы.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Съ толку сбила.

Вчерашней сцены не осталось и слѣда. Глафира была всесела и простосердечна, что чрезвычайно шло ко всему ея живому существу. Когда она хотѣла быть ласковой, это ей до того удавалось, что обаянію ея подчинились люди самые къ ней нерасположенные, и она это, разумѣется, знала. Гордановъ, расхаживал по залѣ, слушать, какъ она разспрашивала дѣвушку о ея семье, о томъ, гдѣ она училась и пр., и пр. Эти разспросы предлагались такимъ участливымъ тономъ и въ такой мастерской послѣдовательности, что изъ нихъ составлялась самая нѣжѣйшая музыка, постепенно все сильнѣе и сильнѣе захватывавшая сердце слушательницы. Съ каждою шилькой, которую дѣвушки, убирая голову Бодростиной, затыкала въ ея непокорные волнистые волосы, Глафира пускала ей самый тонкій и болѣзненно-острый уколъ въ сердце, и, слушавшій всю эту игру, Гордановъ не успѣлъ и успѣдить, какъ дѣло дошло до того, что голосъ дѣвушки началъ дрожать на низкихъ нотахъ: она рассказывала, какъ она любила и что изъ той любви вышло... Какъ онъ, — этотъ вѣковѣчный онъ всѣхъ милыхъ дѣвъ, —бросилъ ее; какъ она по немъ плакала и убивалась, и какъ потомъ явилось оно — также вѣковѣчное и неизбѣжное третье, возникшее отъ любви двухъ существъ; какъ это оно было завернуто въ пеленку и одѣяльце... все чистенько-пречистенько... и отнесено въ Воспитательный домъ съ ноготочками, намѣченными лаписомъ, и какъ этотъ лаписъ былъ сѣдѣнъ свѣтомъ, и какъ потомъ и само оно тоже будетъ сѣдѣнъ свѣтомъ и пр., и пр. Однимъ словомъ, старая пѣсня, которая, однако, вѣчно нова и не теряетъ интереса для своего пѣвца.

Глафира Васильевна очаровывала дѣвушку вниманіемъ къ этому разсказу и имъ же не допускала ее ни до какихъ рѣчей о своемъ вчерашнемъ пришадкѣ.

Съ Гордановымъ она держалась той же тактики. Выйдя

къ нему въ залъ, она его встрѣтила во всеоружії своей сверкающей красоты: подала ему руку и освѣдомилась, хорошо ли онъ спалъ? Онъ похвалился спокойнымъ и хорошимъ сномъ, а она поклоновалась:

— Je n'ai pas fermé l'oeil toute la nuit,—сказала она, наливая чай.

— Будто! Это досадно, а мы, кажется, вчера предъ сномъ вѣдь сдѣлали хорошую прогулку.

Бодротина покала съ недоумѣніемъ плечами и, улыбаясь, отвѣчала:

— Ну, вотъ подите же: не спала да и только! Вѣрю оттого, что вы были моимъ такимъ близкимъ сосѣдомъ.

— Не вѣрю!

Глафира сдѣлала кокетливую гримасу.

— Очень жалко, — отвѣчала она: — всѣмъ дается по вѣрѣ ихъ.

— Но я певѣрующій.

— Да я не знаю, чѣму вы тутъ не вѣрите? чѣмъ вблизи вѣрѣ не спится? Вы борецъ за существованіе.

— А, вотъ ты куда мѣтишь?

— Да; но вы, впрочемъ, правы. Не вѣрьте этому болыше, чѣмъ всему остальному, а то вы въ самомъ дѣлѣ возмечтаете, чѣмъ вы очень болыши хиппный звѣрь, тогда какъ вы даже не мыши. Я спала крѣпко и пресладко и видѣла во снѣ прекраснаго человѣка, который совсѣмъ не походилъ на васъ.

— Не оттого ли вы такъ добры и прекрасны?

— Вѣроятно.

Гордановъ, похлебывая чай, шутя подивился только: чѣмъ за сравненіе къ нему примѣнено, что онъ не звѣрь и даже не мышь!

— А конечно, — отвѣчала, зажигая пахитоску, Бодротина: — вы ни сѣтей не рвете и даже не умѣете проникнуть по-мышиному въ щелочку, и только бредомъ о своей Ларисѣ мѣшасте спящей въ двухъ шагахъ отъ васъ женщины забыть о своемъ сосѣдствѣ.

— Вотъ вамъ письмо къ этой Ларисѣ,—отвѣтилъ ей на это Гордановъ и подалъ конвертъ.

— На что же мнѣ оно?

— Прочтите.

— Я не желаю быть повѣреннаю чужого чувства.

— Нѣть, ты прочти, и ты тогда увидишь, что здѣсь и слова нѣть о чувствахъ. Да; я прошу тебя, пожалуйста, прочти.

И онъ почти насилию всунулъ ей въ руку развернутый листокъ, на который Глафира бросила нехотя взглядъ и прочитала:

«Прошу вѣсъ, Лариса Платоновна, не думать, что я бѣжалъ изъ вашихъ палестинъ оскорбленный вашимъ обращеніемъ къ Подозерову. Слыши успокоить вѣсъ, что я вѣсъ никогда не любилъ, и послѣ того, чтѣ было, вы уже ни на что болѣе мнѣ не нужны и не интересны для моей любопытственности.»

Гордановъ зорко слѣдила во все это время и за глазами Глафиры, и за всѣмъ ся существомъ, и не проморгнула движенія ея бровей и бѣлого мизинца ея руки, который, по мѣрѣ чтенія, все разгибался и, наконецъ выпрямясь, сталь въ уровень съ устами Павла Николаевича. Гордановъ схватилъ этотъ шаловливый пальчикъ и, цѣлюя его, спросилъ:

— Довольна ли ты мною теперь, Глафира?

— Я немножко нездорова, чтобы быть чѣмъ-нибудь очень довольною,—отвѣчала она спокойно, возвращая ему листокъ, и при этомъ какъ бы вдругъ вспомнила:—Нѣть ли у вѣса большой фотографіи или карточки, снятой съ вѣсомъ съ женщиной?

— На что бы это вѣсъ?

— Мнѣ нужно.

— Не могу этимъ служить.

— Такъ послужите. Возьмите Ципри-Кипри... Впрочемъ, эти одѣваться не умѣютъ.

— Да ну ихъ къ чорту, развѣ безъ нихъ мало!

— Именно; возьмите хорошую, но благопристойную...

— Даму изъ Амстердама,—подсказалъ Гордановъ.

Бодротина кинула ему въ отвѣтъ утвердительный взглядъ и въ то же время, вынувъ изъ бумажника карточку Александры Ивановны Синтианиной, проговорила:

— Во вкусѣ можете не стѣсняться—blonde или brune — это все равно; оттуда поза и фигура, а головка отсюда.

Гордановъ принялъ карточку и вздохнулъ.

— Конечно, нужно, чтобы стать какъ можно болѣе отвѣчаль тѣлу, которое поситъ эту голову.

— Ужъ разумѣется.

— И поза скромная, а не какая-нибудь, а я чортъ меня побери.

— Перестань, пожалуйста, меня учить.

— И платье черное, самое простое черное шелковое платье, какое есть непремѣнно у каждой женщины.

— Да знаю же, все это знаю.

— Лишний разъ повторить не мѣшаетъ. И потомъ, когда дойдетъ дѣло до того, чтобы приставить эту головку къ корпушу дамы, которая будеть въ вашихъ объятіяхъ, надо...

Гордановъ перебилъ ее и скороговоркой прочель:

— Надо поручить это дѣло какому-нибудь темному фотографицку... Найду такого изъ полячковъ или жидковъ.

— И чтобы на оборотѣ карточки не было никакого адреса.

— Ахъ, какая ты беспокойная, ужъ обѣ этомъ они сами побезинокоятся.

— Да, я беспокойна, но это и не мудрено; все это ужъ слишкомъ долго тянется,—проговорила она съ нетерпѣливою гrimасой.

— Вѣдь за тобою же дѣло. Скажи, и давно бы все прикончили,—отвѣтилъ Гордановъ.

— Нѣтъ; дѣло не за мной, а за обстоятельствами. Я иду такъ, какъ мнѣ слѣдуетъ идти. Поступить въ этомъ случаѣ, значить людей настѣшить, а мнѣ нуженъ свѣтъ, и онъ долженъ быть на моей сторонѣ.

— Ну, чортъ ли въ немъ тебѣ, и врядъ ли это можно.

— Нѣтъ, извините, мнѣ это нужно, и это можно! Свѣтъ не караетъ преступленій, но требуетъ отъ нихъ тайны. А вирочемъ, это ужъ мое дѣло.

— Позволь, однако, и мнѣ дать тебѣ одинъ совѣтъ,—заговорилъ Гордановъ, потряхивая въ руки карточкой Синягиной.—Ты, разумѣется, разсчитываешь что-нибудь поставить на этой фотографіи, которую мнѣ заказываешь.

— Еще бы, конечно, мнѣ это нужно не для того, чтобы раздражать мою ревность.

— Да перестань играть словами. А дѣло вотъ въ чёмъ: это ни къ чему не поведеть; на этотъ хрусталь ничто не воздѣйствуетъ.

— Ты бросаешься въ игру словъ: *сопѣтъ* на него не воздѣйствуетъ?

— Не повѣрить,—отвѣчалъ, замотавъ головой, Гордановъ.

— Кому? Солнцу не повѣрить. Оставь со мною споры; ты мелко плаваешь, да и намъ остается ровно столько времени, чтобы позавтракать и проститься, условясь кое-о-чемъ предъ разлукой. Итакъ, еще разъ: понимаешь ли ты, чтѣ ты долженъ дѣлать? Бодростинъ долженъ быть весь въ рукахъ Казимиры, какъ Іовъ въ рукахъ сатаны, понимаешь? Весь, совершенно весь. Я получила прекрасныя вѣсти. Казимира, какъ настоящая полька, влюбилась наконецъ въ своего сангюлота... скрипача... Она готовилась быть матерью... Этимъ безцѣннымъ слухомъ мы должны воспользоваться, и это будущее дитя должно быть поставлено на счетъ Михаилу Андреевичу.

— Но тутъ... позовлы!..—Гордановъ разсмѣялся и добавилъ:—въ этомъ твоего мужа не увѣришь.

— Почему?

— Почему? Потому что *il a au moins soixante dix ans.*

— *Tant mieux, mon cher, tant mieux?* C'est un si grand *âge*, что какъ не увлечься такимъ лестнымъ поклопомъ! Онъ назовется авторомъ, не бойтесь. Впрочемъ, и это тоже не ваше дѣло.

— Да ужъ... «*mon dѣla*», это я вижу, что-то чернорабочее: дѣлай чтѣ велять и не смѣй спрашивать,—сказалъ, съ худо скрываемымъ неудовольствиемъ, Гордановъ.

— Это такъ и слѣдуетъ: мужчины трутни, грубая сила. Въульѣ господствуютъ бесполые, какъ я! Твое дѣло будеть только уронить невзначай Казимиръ сказанную мною мысль о ребенкѣ, а ужъ она сама ес разыграеть, и затѣмъ ты мнѣ опять тамъ нуженъ, потому что когда яичница въ шляпѣ будетъ приготовлена, тогда вы должны извѣстить меня въ Парижъ, — и вотъ все, чтѣ отъ васъ требуется. Не велика услуга?

— Очень не велика. Но что же требуется? Чтобъ онъ взялъ къ себѣ этого ребенка, что ли?

— Нимало. Дитя непремѣнно должно быть отдано въ Воспитательный домъ, и *непремѣнно* при посредствѣ моего мужа.

— Ничего не понимаю,—проговорилъ Гордановъ.

— Право не понимаешь?

— Ровно ничего не понимаю.

— Ну, ты золотой человѣкъ. Лети же мой нѣмой посолъ и неси мою исписанную грамоту.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Брильянтъ и янтарь.

Бодростина достала изъ портфеля пачку ассигнацій и, положивъ ихъ предъ Гордановымъ, сказала:

— Это тебѣ на первую жизнь въ Петербургѣ и на первыя уплаты по твоимъ долгамъ. Когда пришлешь мнѣ фотографію, исполненную какъ я велѣла, тогда получишь вдвое болѣе.

Гордановъ взялъ деньги и поцѣловалъ ся руку. Онъ былъ смятъ и даже покраснѣлъ отъ сознанія своего наемничьяго положенія на мелія дѣлишки, въ значеніи которыхъ ему даже не даютъ никакого отчета.

Онъ даже былъ жалокъ, и въ его глазахъ блеснула предательская слеза униженія. Бодростина смотрѣла на него еще минуту, пока онъ нарочно долго копался, наклоняясь надъ своимъ портфелемъ и, наконецъ, вставъ, подошла къ нему и взяла его голову. Гордановъ наклонился еще ниже. Глафира повернула къ себѣ его лицо и поцѣловала его поцѣлуемъ долгимъ и страстнымъ. Онъ ожиль... Но Глафира быстрымъ движеніемъ отбросила отъ себя обиввшія ее руки Горданова и, погрозивъ ему съ улыбкой нальцемъ, подавила пуговку электрическаго звонка и сама отошла и стала противъ зеркала.

Приказавъ воинѣнему па этотъ зовъ слугѣ подать себѣ счетъ, Глафира добавила:

— Возьмите кстати у барина письмо и опустите его тотчасъ въ ящикъ.

Слуга отвѣтилъ:

— Слушаю-сь.

И, взявъ изъ рукъ Горданова письмо къ Ларѣ, безмолвно удалился.

Глафира спокойно начала укладывать собственноручно различныя мелочи своего дорожнаго багажа, посовѣтовавъ заняться тѣмъ же и Горданову.

Затѣмъ Бодростина посмотрѣла поданный ей счетъ, заплатила деньги и, вѣтъвъ выносить вещи, стала надѣвать предъ зеркаломъ черную кастрюковую шляпу съ длиннымъ вуалемъ.

Гордановъ снарядился и, ставъ сзади нея, съ дорожной сумкой черезъ плечо, онъ смотрѣлъ на нее сухо и сурово.

Глафириѣ все это было видно въ зеркалѣ, и она спросила его:

— О чѣмъ ты задумался?

— Я думаю о томъ, гдѣ у иныхъ женщины та женская чувствительность, о которой болтаютъ поэты?

— А иѣкоторыя женщины ее берегутъ.

— Берегутъ? тмъ! Для кого же онѣ ее берегутъ?

— Для избранныхъ.

— Для иѣсколькихъ?

— Да, понемножку. Вѣдь ты и многіе учили женщинъ, что всякая исключительная привязанность порабощаетъ свободу, а кто же болѣйший другъ свободы, какъ не мы, несчастныя порабощенные вами созданія? Идемъ, однако: наши венцы уже взяты.

И съ этимъ она пошла къ двери, а Гордановъ за нею.

Сѣживъ на первую террасу лѣстницы, она полуоборотилась къ нему и проговорила съ улыбкой:

— Какой мѣрой человѣкъ мѣрить другому, такой возмѣрится и ему! — и снова побѣжала.

— Смотрите, чтобы это не приложилось и къ вамъ, — отвѣчалъ вдогонку ей Гордаловъ.

— О-о-о! не беспокойся! Для меня пора исключительныхъ привязанностей прошла.

— Ты лжешь сама себѣ: въ тебѣ еще цѣлый вулканъ жизни.

— А, это другое дѣло; но про такія серьезныя дѣла, какъ скрытый во миѣ «вулканъ жизни», мы можемъ договорить и въ каретѣ.

Съ этимъ она вступила въ экипажъ, а за ней и Гордановъ.

Черезъ полчаса Павель Николаевичъ, занявъ мѣсто въ первоклассномъ вагонѣ Петербургской желѣзной дороги, вышелъ къ периламъ, у которыхъ, въ ожиданіи отхода поѣзда, стояла по другой сторонѣ Бодростина.

Опять опять совладалъ съ собой и смирился.

— Ну, еще разъ прощай, «вулканъ», — сказалъ опять, смиясь и протягивая ей свою руку.

— Только, пожалуйста, не «вулканъ», — отвѣтила еще шутливѣе Глафира. — Вулканъ остался тамъ, гдѣ ты посѣялъ свой умъ... Ничего: авось два вырастутъ. А ты утѣшился:

скучать не стойти долго по Ларисѣ, да она и сама скучать не будетъ долго.

— Ты это почему знаешь?

— Да развѣ дуры могутъ долго скучать!

— Она не такъ глупа, какъ ты думаешь.

— Нѣтъ, она именно *такъ* глупа, какъ я думаю.

— Есть роли въ жизни, для выполненія которыхъ умъ не требуется.

— Да; только она ни къ одной изъ нихъ не годна.

— Отчего же: очень много недалекихъ женщинъ, которыхъ прекрасно составляютъ счастье мужей.

— Ты правъ: великодушныя дурочки. Да; это прекрасный сортъ женщинъ, но онѣ рѣдки и она не изъ нихъ.

— Ну, такъ изъ нея можетъ выйти кому-нибудь пущая любовница.

— Никогда на свѣтѣ! Успѣшное исполненіе такой роли требуетъ характера.

— Ну, такъ въ дорогія камеліи пригодится.

— О, всего менѣе! Тамъ нуженъ... талантъ! А впрочемъ, уже недолго ждать: *le grand ressort est cassé*, какъ говорятъ французы: теперь скоро увидимъ, что она съ собой подѣлается?

Раздался второй звонокъ.

Гордановъ протянулъ на прощанье руку и сказалъ:

— Ты умна, Глафира, но ты забыла еще одинъ способъ любить подобныхъ женщинъ: съ ними надо дѣйствовать по романсу: «Тебя томить, тебя терзать, твоимъ мученьемъ наслаждаться».

— А ты-таки достоялся здѣсь предо мной до того, чтобы проговориться, какъ ты думаешь съ ней обойтись? Понимаю, и пусть это послужитъ тебѣ объясненіемъ, почему я тебѣ не довѣряюсь; пусть это послужитъ тебѣ и урокомъ, какъ глупо стараться заявлять свой умъ. Но иди, тебя зовутъ.

Кондукторъ дѣйствительно стоялъ возлѣ Горданова и приглашалъ его въ вагонъ.

Павель Николаевичъ стиснулъ руку Глафиры и шепнулъ ей:

— Ты брильянты самыхъ совершенѣйшихъ граней!

Бодростина, смѣясь, покачала отрицательно головой.

— Что? Развѣ не брильянты?

— Я-и-т-а-р-ы! — шепнула она, оглядываясь и слегка на-
двигая брови надъ улыбающимся лицомъ.

— Почему же не брильянтъ, почему янтарь? — шепталъ,
выглядывая изъ вагона, развеселившійся Гордановъ.

— Потому что въ янтарѣ есть свое постоянное электри-
чество, межъ тѣмъ, какъ брильянтъ, чтобы блеснуть, нуж-
дается въ свѣтѣ... Я полагаю, что это, впрочемъ, совсѣмъ
не интересно для того, кого заперли на защелку. Adieu!

Поѣздъ тронулся и поползъ.

— Sans adieu! Sans adieu! Je ne vous dis pas adieu! —
крикнуль, высовываясь назадъ, Гордановъ.

Бодростина только махнула ему, смѣясь, рукой и въ
томъ же самомъ экипажѣ, въ которомъ привезла сюда изъ
гостиницы Горданова, отѣхала на дебаркадеръ другой
желѣзной дороги. Не тяготясь большимъ крюкомъ, она из-
брала окольный путь на западъ и покатила къ небольшому
пограничному городку, на станціи котораго давно уже
обращалъ на себя всѣобщее вниманіе таинственный госпо-
динъ потеряннаго вида, встрѣчавшій каждый поѣздъ, прі-
ѣзжающій изъ Россіи.

Господинъ этотъ есть не кто иной, какъ злополучный
Іосафѣ Платоновичѣ Висленевѣ, писавшій отсюда Горда-
нову подъ псевдонимомъ покинутой Эсперансы и уготован-
ный теперь въ жертву новымъ судьбамъ, вѣдомымъ лишь
Богу на небѣ, да на землѣ грѣшной рабѣ Его Глафири.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Указъ объ отставкѣ.

Мы не погонимся за нашими путешественниками: пусть
оии теперь будуть каждый своимъ путемъ-дорогой, пока не
достигнутъ пунктовъ, на которыхъ должны продолжать свои
«предпріятія», а сами мы вернемся назадъ въ губернское
захолустье, гдѣ остались слѣды сокольяго перелета Гор-
данова.

Въ то самое время, какъ Павелъ Николаевичъ катиль
на сѣверъ, соображая: насколько онъ прочитанъ Глафири
и насколько онъ самъ могъ прочитать ее; въ то время,
какъ Глафира несется на западъ, лежа въ углу спокой-
наго купе, — въ положеніи нашихъ провинціальныхъ друзей
нарушилась тѣгостная неподвижность, и первые признаки
этого движенія были встрѣчены и приняты Ларисой.

Тотъ короткій осенний день, когда главные наши предприниматели разъѣхались изъ Москвы въ разныя стороны, въ покинутой ими провинціи рано заключился темными нечастными сумерками. Въ пять часовъ послѣ обѣда мрачные отъ сырости дома утопали въ сѣрой проницающей мглѣ. Вѣтеръ не дулъ, не рвалъ и не свистѣлъ, а вертѣлся и дергался кое-гдѣ на одномъ мѣстѣ, будто сновала частую основу. Поснуетъ, похлопаетъ ставней словно бедромъ и перелетитъ дальше, и тамъ постучитъ, помалчить и опять пошепель далѣе. Крупный мокрый снѣгъ то сыпнетъ какъ изъ рукава, то вдругъ порѣдѣеть и движется какъ скатывающаяся кисея, — точно не то летить сова, не то лунь плыветь.

Въ полутемной комнатѣ, гдѣ лежалъ больной Подозоровъ, сумерки пали еще ранѣе: за густыми суконными занавѣсками, которыми были завѣшаны окна, свѣтъ померкъ еще ранѣе. Благодаря защищѣ этихъ же занавѣстъ, здѣсь не такъ была слышна и разгулявшаяся на дворѣ непогода. На противъ, шумъ непогоды, доходившій сюда смягченнымъ черезъ двойныя рамы и закрывающія ихъ волни сукна, напѣвалъ пѣчто успокаивающее и спотворное. Посткрипить, поскрипить тихонько за угломъ на своихъ петляхъ старая рѣшетчатая калитка, крякнетъ подъ окномъ на корнѣ старая яблоня, словно старуха, отбивающаяся отъ шаловливаго внука, — и все затихнетъ; мокрый вѣтеръ уже покинулъ яблоню и треплетъ безлистенные прутья березы. Но вотъ и эта отдалась: ея мокрые голые прутья стегнули по закрытой ставнѣ окна и, опустясь, зашумѣли; береза точно ворчитъ во снѣ, что ей мѣшаютъ спокойно негрузиться въ свою полугодовую сиянку, пока затрещитъ надъ нею въ высокомъ небѣ звонкій жаворонокъ и возвѣститъ, что пора ей проснуться, обливаться молокомъ съ макушкы до низу и брызгать сокомъ черезъ ароматную почку.

Стойть человѣку задремать подъ этотъ прибой и отбой стихийныхъ порывовъ, и его готовъ осѣсть цѣлый рой грезъ, уносящихъ воображеніе и память въ чудную область мечтаний.

Подозоровъ почти впервые послѣ разразившейся надъ нимъ катастрофы спалъ пріятно и крѣпко. Въ убаюканной головѣ его расчищался понемногу долго густѣвшій туманъ, и тихое вліяніе мысли выяснило знакомые облики и про-

водило ихъ въ стройномъ порядкѣ. Предъ нимъ двигалось дѣтство, переходя, какъ въ туманномъ стеклѣ панорамы, изъ картины въ картину, и вотъ она, юность, и вотъ она, болѣе зрѣлые годы. Вотъ наконецъ и она. Въ зноииномъ пространствѣ, на зыбкихъ качеляхъ колеблется Лара... Что хочетъ сказать ся нераразгаданный взглядъ? чѣмъ дышитъ эта чудная красота, и что въ ней не дышитъ? Призракъ чудесный! и зачѣмъ она вправду не призракъ? Зачѣмъ этотъ толчокъ и жгучая боль возлѣ больного сердца? Зачѣмъ тонкія, слегка посинѣвшія вѣки больного зашевелились, какъ оживавшая весной оса, и медленно ползутъ кверху? Ему, очевидно, больно. Пробужденные глаза его видятъ въ полуумракѣ закрытои щиткомъ лампады всю укутанную сукномъ комнату... Ея здѣсь нѣть; нѣть и тревогъ, которая родилъ этотъ призракъ. Все тихо, какъ сонъ въ царствѣ тѣней... Вѣтъ тихимъ, теплымъ покоемъ... Не въ этомъ ли родѣ нѣчто будеть въ тотъ таинственный мигъ, когда разрѣшенный духъ, воспянувъ въ смятеніи, взлетѣтъ надъ собственнымъ покинутымъ футляромъ, и носясь горѣ, остановится надъ тѣмъ, что занимало его на землѣ? Все это какъ будто знакомо, все это было тогда, но только не вспомниши когда. Не вспомниши причины, почему это такъ, а не иначе, отчего, напримѣръ, шатаясь шевелится эта стѣна, которою больному представляется сукно, закрывающее дверь. А движеніе все идетъ своимъ чередомъ. Вотъ запавѣса распахнулась, и изъ-за нея выступили двѣ тѣни. У одной изъ нихъ въ рукахъ лампада, закрытая прозрачною ладонью. Что это за видѣніе? Вотъ эти тѣни взошли, остановились, вытянули впередъ свои головы и, напрягая зрѣніе, долго и пристально посмотрѣли на него, и потомъ неслышно стопой попятались назадъ и скрылись. Складки сукна снова упали, и опять вокругъ густой полуумракъ. Блуждающій взоръ больного теперь не различаетъ ничего въ темномъ покоѣ, хотя больной не одинъ здѣсь, а у него есть очень интересный товарищъ: въ темномъ углубленіи, въ головахъ у него, между окномъ и высокимъ массивнымъ комодомъ, дремлетъ въ мягкому креслѣ Лариса.

Какая чудная поза! Какъ хороши эти сочетанія Греза, въ очертаніи рисунка, и Рембрандта, въ туманномъ колорите! Но больной Подозеровъ не видить ни черныхъ рѣс-

ницъ, павшихъ на матовыя щеки, ни этой дремлющей руки, въ которой замерло знакомое намъ письмо Горданова,—предательское письмо, писанное въ утѣху Бодростиної, а также и въ другихъ видахъ, извѣстныхъ лишь самому Горданову. Какъ могла спать Лариса, только что прочитавъ такія унизительныя для ея самолюбія строки? да и спала ли она? Нѣть, состояніе, въ которомъ она находилась, было не сонъ. Получивъ около часу тому назадъ это письмо, она рѣшилась вскрыть его только здѣсь, въ комнатѣ больного, который теперь казался ей геніемъ-хранителемъ. Прочитавъ присланный ей Гордановымъ короткій и наглый указъ обѣ отставкѣ, она уронила голову, уронила руку и потеряла сознаніе. Было-ль жаль его?.. Нѣть. Любила-ль она его?.. Богъ вѣсть. Но она была сражена тѣмъ, что она,—красавица, которая не умѣла придумать себѣ достойной цѣны,—можетъ быть пренебрежена и кинута какъ негодная и ничего не стоящая вещь! Она чувствовала въ случившемся не только обиду, но и живую несобразность, которая требуетъ разъясненія и выхода. Она ждала и жаждала ихъ, и они не замедлили.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Собака и ея тѣнь.

За стѣной, куда скрылися тѣни, началась шопотомъ бесѣда.

— И ты съ тѣмъ это и принесла сюда, Катя?—внезапно послышалось изъ-за успокоившихся полосъ сукна.

Лариса тотчасъ же узнала голосъ генеральши Синтианой.

— Да; я именно съ этимъ пришла, — отвѣчалъ ей немножко грубо-ватый, но искренний голосъ Форовой; я давно жду и не дождусь этой благословенной минутки, когда онъ придется въ такой разумъ, чтобы я могла сказать ему: «прости меня, голубчикъ Андрюша, я была виновата предъ тобою, сама хотѣла, чтобы ты женился на моей племянницѣ, ну а теперь каюсь тебѣ въ этомъ и сама тебя прошу: брось ее, потому что Лариса не стойти путиаго человѣка».

— Горячо сказано, Катя.

— Горячо и праведно, моя милая.

— Ну, въ такомъ случаѣ миѣ остается только порадо-

ваться, что мы съ тобой сошлись на его крыльце, что онъ спитъ и что ты не можешь исполнить своего намѣренія.

— Я его непремѣнно исполню,—отвѣчала Форова.

— Нѣтъ, не исполнишь: я увѣрена, что ты черезъ минуту согласишься, что ты не имѣешь никакого права вмѣшиваться такимъ образомъ въ ихъ дѣло.

— Ну, это старая пѣсня; я много слыхала про эти не-вмѣшательства и не очень ихъ почитаю. Нѣтъ, вмѣшивайся; если кому желаешь добра, такъ вмѣшивайся. А онъ мнѣ просто жалости достоинъ.

Слышино было, какъ Форова сорвала съ себя шляпу и бросила ее на столъ.

— Въ этомъ ты права,—отвѣтила ей тихо Синтянина.

— Да какъ же не права? Я тебѣ говорю, сколько я больная лежала, да разсуждала про нашу Ларису Платоновну, сколько теперь къ мужу въ тюрьму по грязи плѣпаю, или когда здѣсь надѣлъ болѣнья сижу,—все она у меня изъ головы неидетъ: чтѣ она такое? Нѣтъ, ты разскажи мнѣ, пожалуйста, чтѣ она такое?

Синтянина промолчала.

— Молчишь,—нетерпѣливо молвила Катерина Астафьевна:—это, мать моя, я и сама умѣю.

— Она... красавица,—сказала Синтянина.

— То-есть писанка, которою цацкаются, да поцацкавшись, другому отдаются, какъ писанное яичко на Великъ День.

— Что же это позволяетъ тебѣ дѣлать на ея счетъ такія заключенія?

— Изъ чего я такъ заключаю?.. А вотъ изъ этого письмѣца, которое мнѣ какой-то благодѣтель прислалъ изъ Москвы. Возьми-ка его, да поди къ окну, прочитай.

Синтянина встала и черезъ минуту восхликала:

— Какая низость.

— Да; вотъ и разсуждай. Вотъ тебѣ и красавица,—Гордашка, и тотъ падетъ отказъ какъ шесть.

— Анонимное письмо... кошія... это все не стоять никакой вѣры.

— Нѣтъ, это вѣрно, да чтѣ въ самомъ дѣлѣ намъ себѣ вратъ: это такъ должно быть. Я помню, что встарь говорили: красота безъ нравовъ — это приманка безъ удочки; такъ оно и есть: подплываетъ карась, повернется, да и

уйдеть, а тамъ голецъ толкнется, пескарь губами пошипаеть, пока развѣ какой шерниавый ёршъ ханнеть, да ужъ совсѣмъ слопасть. Ларка... нѣть, эта Ларка роковая: твой мужъ правду говорить, что се, какъ калмыцкую лошадь, однѣй калмыкъ переупрямить.

Въ отвѣтъ на это замѣчаніе послышался только тихій вздохъ.

— Да, вотъ видишь ли, и вздохнула? А хочешь ли я тебѣ скажу, почему ты вздыхаешь? Потому, что ты сама согласна, что въ ней, въ нашей прекрасной Ларочкѣ, нѣть ничего достойнаго любви и уваженія.

Синтиянина на это не отвѣтила ни слова, а голова Ларисы судорожно оторвалась отъ спинки кресла и выдвинулась впередъ съ гнѣвнымъ взоромъ и расширяющимися ноздрями.

Форова не прерывала нити занимающихъ ее мыслей и продолжала свой разговоръ.

— Нѣть, ты не отмалчивайся,—говорила она:—мы здѣсь однѣ, настѣнъ никто третій здѣсь не слышать, и я у тебя настоятельно спрашиваю: что же, уважаешь развѣ ты Ларису?

— Уважаю,—рѣшительно отвѣтила Синтиянина.

— Дженѣ! Ты честная женщина, ты никого не погубила и потому не можешь уважать такую метелицу.

— Она метелица, это правда, но это все оттого только, что она капризна,—отвѣчала генеральша.

— Да вотъ изволишь видѣть: она только капризна да пустоголова, а то всѣмъ бы взяла.

— Ну, извини: у нея есть умъ.

— Необыкновенно какъ умна! Цѣны себѣ даже не сложить, колочка не выберетъ, на какой бы себя повѣсить! И то бы ей хорошо, а это еще лучше того; ступить шагъ, да оглянется, пойдетъ впередъ и опять воротится.

— Все это значить только то, что у нея беспокойное воображеніе.

— Ну, вотъ выдумай еще теперь беспокойное воображеніе! Все что-нибудь виновато, только не она сама! А я вамъ доложу-сь одно, дорогая моя Александра Ивановна, что какъ вы этого ни называйте,—капризъ ли это или по новому—беспокойное воображеніе,—а съ этимъ жить нельзя!

Генеральша ножала плечами и отвѣчала:

— Однако же люди живутъ съ женщинами капризными.

— Живутъ-съ? Да, съ ними живутъ и маются и вѣкъ своей губятъ. Изъ человѣка сила-богатырь вышелъ бы, а кисейный рукавъ его на вѣтеръ пустить, и ученые люди въ родѣ вѣсь это оправдываютъ: «Женщина, женщина!» говорятъ. «Женщины несчастныя, ихъ надо во всемъ оправдывать».

— Я не оправдываю ни женщинъ, ни Ларисы, и, пожалуйста, прошу тебя, не считай меня женскимъ адвокатомъ; бываютъ виноватыя женщины, есть виноватые мужчины.

— Какъ же вы не оправдываете Ларису, когда вы ее даже уважаете?—настаивала майорша.

— Я въ Ларисѣ уважаю то, что заслуживаетъ уваженія.

— Что же-съ это, чтѣ, позвольте узнать? Что же вы въ искѣ уважаете?

— Она строгая, честная дѣвушка.

— Что-съ?

— Она строгая къ себѣ дѣвушка; дѣвушка честная, не болтушка, не сплетница; любить домъ, любить чтеніе и бесѣду умныхъ людей. А все остальное... отъ этого ей одной худо.

— Она строгая дѣвушка? Она честная? Поздравляю!

— Развѣ ты о ней какимъ-нибудь образомъ узнала что-нибудь нехорошее?

— Нѣтъ, образомъ я ничего не узнала, а меня это какъ полѣномъ въ лобъ свистнуло... но только нечего про это, нечего... А я сказала, что не хочу, чтобы Андрей Ивановичъ принималъ какъ святыню ее, обѣцкованную мерзкими губами; я этого не хочу и не хочу, и такъ сдѣлаю.

И разгорячившаяся Форова забылась и громко хлопнула по столу ладонью.

— Да!—подтвердила она:—я такъ сдѣлаю: дрянь ее бросила, а хорошему я не дамъ съ ней обрушиться.

— Дрянь бросила, а хороший подниметъ,—проговорила Синтиянинъ.—Это такъ нерѣдко бываетъ, моя Катя.

— Ну бываетъ, или не бываетъ, а на этотъ разъ такъ не будетъ! Клянусь Богомъ, мужемъ моимъ, всѣмъ на свѣтѣ клянусь: этого не будетъ! Подыми только его Господь, а ужъ тогда я сама, я все ему открою, и онъ ее бросить.

— Какъ же ты можешь за это ручаться? Ну, ты ска-

жешь ему, что она капризница, по большею частию вся хорошенъкія женщины капризны.

— Нѣтъ, я и другое еще скажу.

— Ну... ты, положимъ, скажешь, что она кого-то когда-то поцѣловала, что ли...—произнесла, нѣсколько затрудняясь, генеральша:—но что же изъ этого?

— Такъ это ничего! Такъ это по-твоему ничего? Ну, не ожидала, чтобы ты, ты, строгая, чистая женщина, дѣвш-камъ ночные поцѣлуи съ мерзавцами совѣтовала.

— Я и никогда этого не совѣтовала, но скажу, что это бываетъ.

— И что это *ничего*?

— Почти. Спроси, пожалуйста, по совѣсти всѣхъ дамъ, не случалось ли имъ поцѣловать мужчину до замужества, и ручалось, что рѣдкой этого не случалось; а между тѣмъ это не помышляло многимъ изъ нихъ быть потомъ и очень хорошими женами и матерями.

— Ну, а я говорю, что она не будетъ ни хорошей женой, ни хорошей матерью; мнѣ это сердце мое сказало, да и я знаю, что Подозоровъ самъ не станетъ по-твоему разсуждать. Я видѣла, какъ онъ смотрѣлъ на нее, когда былъ у тебя въ послѣдній разъ предъ дуэлью.

— Какъ онъ на нее смотрѣлъ? Я ничего особенного не видала.

— Именно особенно: совсѣмъ не такъ, какъ глядѣлъ на нее прежде. Бровки-то съ губками видно уже напроторѣли, а живая душа за душу потянула.

— Что это?.. другая любовь, что ли?

— Да-съ.

— Это любопытно,—уронила съ легкимъ смущеніемъ въ голосъ генеральша.

— А ты не любопытствуй, а то я вѣдь, пожалуй, и скажу.

— Пожалуйста, пожалуйста, скажи.

— Да ты же сама эта живая душа, вотъ кто!

— Ну ты, Катерина, въ самомъ дѣлѣ съ ума сходишь.

— Нимало не схожу: ты его любишь, и онъ къ тебѣ тоже всей душой потянулся, и придетъ время дотянется.

Генеральша еще болѣе смущеннымъ голосомъ спросила:

— Чѣдѣ за вздоръ такой, какъ это онъ—*дотягивается*?

— Да отчего жъ нѣтъ? Ты молода, ему тридцать пять

лѣтъ, а мужу твоему дважды тридцать пять, да еще ис
ть хвостикомъ ли? Иванъ Демьяновичъ умреть, а ты за
Андрющу замужъ выйдешь. Вотъ и весь сказъ.—Не желаешь,
чтобъ такъ было?

Послышился шорохъ, и двѣ женскія фігуры въ обѣихъ
смежныхъ комнатахъ встали и двинулись: Лариса скользъ-
нула къ кровати Подозерова и положила свою трепещущую
руку на изголовье больного, а Александра Ивановна сдѣ-
лала шагъ на середину комнаты и, сжавъ на груди руки,
произнесла:

— Нѣтъ, нѣтъ, ты лжени! Видить Богъ мое сердце, я
не желаю смерти моему мужу! Я желаю ему выздоровленія,
жизни, покоя и примиренія со всѣмъ, предъ чѣмъ онъ не
правъ. И это такъ и будетъ: докторъ сегодня сказалъ, что
Иванъ Демьяновичъ уже положительно вѣдь всякой опасно-
сти, и мы поѣдемъ въ Петербургъ; тамъ вынуть его пулю,
и онъ будетъ здоровъ.

— Да, да, все это вы сдѣлаете, а все-таки будетъ
такъ, какъ я сказала: старому гнить, а молодымъ жить.
Ты этого не хочешь, по тебѣ это желается; оно такъ и
выйдетъ.

При этихъ новыхъ словахъ Форовой фигура генеральши,
обрисовавшаяся темнымъ силуэтомъ на сѣромъ фонѣ гу-
стыхъ сумерекъ, поднялась съ дивана и медленно повер-
нулась.

— Катя! это уже наконецъ жестоко! — проговорила она
и, закрывъ рукой лицо, отошла къ стѣнѣ. Она какъ бы чего
обробѣла, и на вѣкахъ ея глазъ повисли слезы.

Въ это же самое мгновеніе, въ другой комнатѣ, Лара,
упершись одною рукой въ блѣдный лобъ Подозерова и под-
нимая тоненьkimъ пальцемъ его зѣницы, другою крѣпко
сжала его руку и, глядя перепуганнымъ взглядомъ въ рас-
ширенные зрачки больного, шептала:

— Встаньте, встаньте же, встаньте! Проснитесь... я
люблю васъ!

Лариса должна была нѣсколько разъ кряду повторить
свое признаніе, прежде чѣмъ обнаружилось хотя слабое
дѣйствие того волшебства, на которое она разсчитывала. Но
она такъ настойчиво теребила больного, что въ его глазахъ
наконецъ блеснула слабая искра сознанія, и онъ вышелъ
изъ своего окаменѣлаго безчувствія.

— Слышили вы, слышите ли, что я говорю вамъ?— добивалась шепотомъ Лара, во всю свою силу сжимая руку больного и удерживая пальцами другой руки вѣки его глазъ.

— Слы...ш...ш...ш...у!—тихо протянула Подозеровъ.

— Узнаете ли вы меня?

— Уз...на...ю.

— Назовите же меня, назовите: кто я?

— Вы?..

Больной вдругъ вперилъ глаза въ лицо Лары и послѣ долгаго соображенія отвѣтилъ:

— Вы не она.

Лариса выбросила изъ своихъ рукъ его руку, выпрямилась и, закусивъ нижнюю губку, мысленно послала не ему, а многимъ другимъ одно общее проклятие, большая доля котораго безъ раздѣла досталась генеральшѣ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Раненаго берутъ въ пльнь.

Описанная неожиданная сцена между Ларисой и Подозеровымъ произошла очень быстро и тихо, но, тѣмъ не менѣе, нарушивъ безмолвіе, царившее во все это время въ покойѣ больного, она не могла утаиться отъ двухъ женщинъ, присутствовавшихъ въ другой комнатѣ, если бы вниманіе ихъ въ эти минуты не было въ сильнѣйшей степени отвлечено другою неожиданностью, которая, въ свою очередь, не обратила на себя вниманія Ларисы и Подозерова только потому, что первая была слишкомъ занята своими мыслями, а второй былъ еще слишкомъ слабъ для того, чтобы сопротивляться разомъ, чтѣдѣлается здѣсь и тамъ въ одно и то же время.

Дѣло въ томъ, что прежде чѣмъ Лара приступила къ Подозерову съ рѣшительнымъ словомъ, на крыльца дереващенаго домика, занимаемаго Андреемъ Ивановичемъ, послышались тяжелые шаги, и въ тотъ моментъ, когда взволнованная генеральша отошла къ стѣнѣ, въ темной передней показалась еще новая фигура, которой нельзя было ясно разглядѣть, но которую сердце майорши назвало ей по имени.

Катерина Астафьевна, воззрясь въ темноту, вдругъ по-

забыла всякую осторожность, требуемую близостью больного, и, отчаянно вззизгнувъ, кинулась впередъ, обхватила вошедшую темную массу руками и замерла на ней.

Генеральша торопливо оправилась и зажгла спичкой свѣчу. Огонь освѣтилъ предъ нею обросшую косматую фигуру майора Филетера Форова, къ которому, въ изступленіи самыхъ смѣшанныхъ чувствъ ужаса, радости и восторга, припала полновѣсная Катерина Астафьевна. Увидѣвъ при огнѣ лицо мужа, майорша только откинула назадъ голову и, не выпуская майора изъ рукъ, закричала: «Форъ! Форъ! ты ли это, мой Форъ!» и начала покрывать поцѣлуями его сильно посѣдѣвшую голову и мокрое отъ дождя и снѣга лицо.

— Ты это? ты? Говори же мнѣ, ты или нѣть? — добивалась она, раздѣляя каждое слово поцѣлуемъ, улыбкой и слезами.

— Ну, вотъ тебѣ на! Я или нѣть? Разумѣется я, — отвѣчала майоръ.

— Господи! я глазамъ своимъ не вѣрю, что это ты!

— Ну, такъ повѣрь.

Майорша не отвѣчала: она, дѣйствительно, какъ бы не довѣряя ни зрѣнію своему, ни слуху, ни осязанію, жалась къ мужу, давила его плечи своими локтями и судорожно ерошила и сжимала въ дрожащихъ рукахъ его сѣдые волосы и обросшую въ острогѣ бороду!

— Откуда же ты? да говори же скорѣе: убѣжалъ?.. Я тебя скрою...

— Ничуть я не убѣжалъ, и нечего тебѣ меня скрывать. Здравствуйте, Александра Ивановна!

Генеральша отвѣчала пожатіемъ руки на его привѣтствіе, и съ своей стороны спросила:

— Какъ это вы, Филетерь Ивановичъ?

— А очень просто: сначала на цѣнь посадили, а нынче спустили съ цѣпи, — только и всего. Слѣдствіе затянулось; Гордановъ съ поручительствомъ уѣхалъ, и меня, въ сравненіе съ сверстниками, на поруки выпустили. Спасибо господину Горданову!

— Да, спасибо ему, разбойнику, спасибо! Но что же мы стоимъ? Иди же, дружочекъ, садись, и расскажи, какъ ты пришелъ... Только тихо говори, бѣдный Андрюша чуть живъ.

— Пришелъ я очень просто: своими погами, а Андрей Ивановичъ гдѣ же лежить?

— Тутъ за стѣной. Тише, онъ теперь спитъ, а мы съ Сашутой тутъ и сидѣли... Ея Ивану Демьянчу, знаешь, тоже легче... да; Саша повезеть его весной въ Петербургъ, чтобъ у него вынули пулю. Не хочешь ли чаю?

— Ничего, можно и чаю; я тамъ привыкъ эту дрянь пить.

— Садись же, а я скажу человѣку, чтобы поставилъ самоваръ. Ты вѣдь не заходилъ домой... ты прямо?..

— Прямо, прямо изъ острога,—отвѣчалъ майоръ, усаживаясь рядомъ съ Синтианиной на диванъ и принимаясь за сооруженіе себѣ своей обычной толстой папиросы.

— Я боялся идти домой,— заговорилъ онъ, обратясь къ генеральшѣ, когда жена его вышла.—Думалъ: войду въ сумеркахъ, застану одну Торочку: она, бѣдное творенье, непрепугается, — и пошелъ къ вамъ; а у васъ говорять, что вы здѣсь, да вотъ какъ разъ на нее и напалъ. Хотѣлъ было ей башмаки, да лавки заперты. А что, гдѣ теперь Лариса Платоновна?

— Она вѣрно дома.

— Нѣть, я былъ у пея; ея дома пѣть. Я заходилъ къ ней, чтобы занять пять цѣлковыхъ для своего поручителя, да не нашелъ ее и отдалъ ему съ шеи золотой крестъ, который мнѣ Торочка въ острогъ повѣсила. Вы ей не говорите, а то обидится.

— А кто же за вѣсть поручился? Впрочемъ, что я спрашиваю: конечно, другъ вашъ, отецъ Евангель.

— А вотъ же и не отецъ Евангель: зачѣмъ бы я Евангелу крестъ отдалъ?

— И правда: я вздоръ сказала.

— Да, кажется, что такъ. Нѣть, за меня не Евангель поручился, а фѣловальникъ Берко. Другъ мой, отецъ Евангель—агитаторъ и самъ подъ судомъ, а слѣдовательно довѣрія не заслуживаетъ. Другое дѣло жидъ Берко; онъ «честный еврей». Но все дѣло не въ томъ, а что я такое вижу... тс!.. тс!.. тише.

Синтиания взглянула по направленію, по которому глядѣлъ въ окно майоръ, и глазамъ ея представилась огненная звѣздочка. Еще мгновеніе, и эта звѣздочка вдругъ краснымъ зайцемъ перебѣжала по сосѣдской крыши и закурилась дымомъ.

— Пожарь! пососѣству пожарь, у сосѣдей! — задыхаясь, прошептала, вѣгая, Форова.

Майоръ, жена его и генеральша выбѣжали на крыльцо и убѣдились, что дѣйствительно въ двухъ шагахъ начинался пожарь и что огонь черезъ нѣсколько минутъ угрожалъ неминуемою опасностью квартирѣ Подозерова. Большого надо было спасать: надо было его взять и перенести, но куда? — вотъ вопросъ. Неужто въ гостиницу? Но въ гостиницахъ такъ беспокойно и беспріютно. Къ Форовымъ? но это далеко, и потому у нихъ тоже не Богъ вѣсть какіе помѣстительные чергоги... Къ Синтянинымъ?.. У тѣхъ, разумѣется, есть помѣщеніе, но генераль Иванъ Демьянычъ самъ очень слабъ, и хотя онъ давно привыкъ вѣрить женѣ и нечего за нее опасаться, однажде онъ подозрителенъ, ревнивъ; старыя страсти могутъ зашевелиться. Это промелькнуло въ головѣ генеральши одновременно съ мыслью взять къ себѣ больного, и промелькнуло особенно ясно потому, что недавніе намеки насчетъ ея чувства къ Подозерову были такъ живы и, къ крайнему ея стыду, къ крайней досадѣ ея, не совсѣмъ безосновательны.

«Вотъ и казнь! — подумала она: — вотъ и начинается казнь! Надѣ чѣмъ бы я прежде не остановилась ни одного мгновенія, надѣ тѣмъ я теперь размышляю даже тогда, когда дѣло идетъ о спасеніи человѣка»...

Но пока генеральша предавалась этимъ размышленіямъ, на дворѣ и на улицѣ заскѣла уже пожарная суматоха и черезъ минуту она должна была неизбѣжно достичь до ушей больного и перепугать, а можетъ-быть, и убить его своею внезапностью. Настояла крайняя необходимость сей-часъ же рѣшиться, чтѣ предпринять къ его спасенію, — а между тѣмъ всѣ только ахали и охали. Катерина Астафьевна бросалась то на огородъ, то за ворота, крича: «Ахъ, Господи, ахъ, Николай угодникъ, что дѣлать?» Синтянина же, рѣшивъ взять, ни на что не смотря, больного къ себѣ, побѣжала въ кухню искать слугу Подозерова, а когда обѣ эти женщины снова столкнулись другъ съ другомъ, вѣгая па крыльцо, вопросъ уже былъ рѣшенъ безъ всякаго ихъ участія. Онъ въ сѣняхъ встрѣтили Форова, который осторожно несъ на рукахъ человѣка, укутаннаго въ долгорунную баранью шубу майора, а Лариса поддерживала ноги больного и прикрывала отъ вѣтра его истощенное тѣло. О

томъ, *что* эта ноша—нечего было спрашивать. Катерина Астафьевна и Синтиянина только воскликнули въ одинъ го-
лосъ: «куда вы это?» на что Лара, не обращаясь къ нимъ,
отвѣтила: «ко мнѣ»,—и эффектное перенесеніе шло далѣе,
по ярко освѣщенному двору, по озареннымъ заревомъ ули-
цамъ, мимо людей толпящихся, осуждающихъ, разсуждаю-
щихъ и не разсуждающихъ.

Синтиянина и Форова послѣдовали за Ларой и майоромъ. Когда больного положили въ кабинетъ отсутствующаго Жо-
зефа Вислепева, Филетеръ Ивановичъ послѣшилъ опять на
пожаръ и, найдя помощниковъ, энергически принялъся спа-
сать подозеровскіе пожитки, перетаскивая ихъ на Висле-
невскій дворъ. Къ утру все это было окончено, и хотя
квартира Подозерова не сгорѣла, а только нѣсколько потер-
пѣла отъ пожарного переполоха, но возвратиться въ нее
было ему неудобно, пока ее снова приведутъ въ порядокъ;
а тѣмъ временемъ обнаружились и другія препятствія, со-
стоявшія главнымъ образомъ въ томъ, что Лара не хотѣла
этого возвращенія. Она дала это понять всѣмъ къ ней близ-
кимъ въ тотъ же самый вечеръ, какъ Подозеровъ былъ
положенъ въ кабинетъ ея брата.

Лара вдругъ обнаружила быстрышую распорядительность:
она, съ помощью двухъ слугъ и Катерины Астафьевны съ
генеральшей, въ нѣсколько минутъ обратила комнату брата
въ удобное помѣщеніе для больного и, позвавъ врача, поль-
зовавшаго Подозерова, объявила Форовой и Синтияниной,
что больной требуетъ покоя и долженъ остаться исключи-
тельно на однихъ ея попеченіяхъ.

Генеральша и майорша переглянулись.

— Мы, значитъ, теперь здѣсь лишнія?—спросила Кате-
рина Астафьевна.

— Да, вамъ, тетя, хорошо бы посмотретьъ, что тамъ...
дѣлается съ его вещами, а здѣсь я сама со всѣмъ управ-
люсь,—спокойно отвѣтала Лара и ушла доканчивать свои
распоряженія.

Форова и Синтиянина остались вдвоемъ въ пустой залѣ.

— Что же, это значитъ раненый теперь въ плѣнѣ взять,
что ли?—молвила майорша.

Синтиянина въ отвѣтъ на это только пожала плечами, и обѣ эти
женщины молча пошли по домамъ, оставивъ Ларису полную
госпожой ея плѣнника и властительницей его живота и смерти.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Роза изъ сугроба.

Больной оставался тамъ, гдѣ его положили; время шло, и Лариса дѣлала свое дѣло.

Чуть только Подозеровъ, получившій облегченіе, началь снова ясно понимать свое положеніе, Лара, строго удалявшая отъ больного всѣхъ и особенно Спятинину, открыла ему тайну униженія, претерпѣнаго ею отъ Горданова.

Это было вечеромъ, одинъ-на-одинъ: Лариса открыла Испанскому Дворянину все предшествовавшее полученію отъ Павла Николаевича оскорбительного письма. При этомъ разскажѣ, Ларису, конечно, нельзя было бы упрекнуть въ особенной откровенности; — нѣтъ, она многое утаивала и совсѣмъ скрыла подробности поцѣлуя, даннаго ею Павлу Николаевичу на окнѣ своей спальни; но чѣмъ неоткровеннѣе она была по отношенію къ себѣ, тѣмъ рѣзче и безповоротнѣе выходила наглость Горданова, а Подозеровъ былъ склоненъ вѣрить на этотъ счетъ очень многому, и онъ, дѣйствительно, вѣрилъ всему, чтѣ ему говорила Лариса. Когда послѣдняя подала ему известное намъ письмо Горданова, Подозеровъ, пробѣжавъ его, содрогнулся, откинувшись далеко отъ себя листокъ и проговорилъ:

— Я только одного не постигаю, какъ такой поступокъ до сихъ поръ не наказанъ!

И Подозеровъ началь тихо вытиратъ платкомъ свои блѣдныя руки, въ которыхъ за минуту держалъ гордановское письмо.

— Кто же можетъ его наказать? — молвила потерянно Лариса.

— Тотъ, кто имѣеть законное право за васъ вступаться, — вашъ братъ Жозефъ. Это его обязанность... по крайней мѣрѣ до сихъ поръ у васъ нѣтъ другого защитника.

— Мой братъ... гдѣ онъ? Мы не знаемъ, гдѣ онъ, и къ тому... эта исторія съ портфелемъ...

Подозеровъ поглядѣль на Ларису и, поправясь на изголовье, отвѣтилъ:

— Такъ вотъ въ чемъ дѣло! Онъ не смѣеть?

— Да; я совершенно беспомощна, беззащитна и... у меня даже не можетъ быть другого защитника, — хотѣла доска-

зать Лара, но Подозеровъ понялъ ее и избавилъ отъ труда доказать это.

— Говорите, пожалуйста: чего вы еще боитесь, что еще вамъ угрожаетъ?

— Я вся кругомъ обобрана... я нищая...

— Ахъ, это!.. да развѣ уже срокъ закладной дома минулъ?

— Да, и этотъ домъ уже больше не мой; онъ будетъ проданъ, а я, какъ видите, — оболгана, поругана и обезчещена.

Лариса заплакала, склоня свою фарфоровую голову на бѣлую ручку, по которой сбѣгалъ, извиваясь какъ змѣя, черный локонъ.

Подозеровъ молча глядѣлъ нѣсколько времени и наконецъ сказалъ даже:

— Что же теперь дѣлать?

— Не знаю; я все потеряла, все... все... состояніе, друзей и доброе имя.

— И отчего я здѣсь у васъ не вижу... ни Катерины Астафьевны, ни майора, ни Синтяниной?

— Тетушкѣ изъ Москвы прислали копію съ этого письма; она всему вѣритъ и презираетъ меня.

— Боже! какой страшный мерзавецъ этотъ Гордановъ! Но будто уже это письмо могло вліять на Катерину Астафьевну и на другихъ?

Лариса вмѣсто отвѣта только хрустнула руками и прошептала:

— Я пойду въ монастырь.

— Что такое? — переспросилъ ее изумленный Подозеровъ, и, получивъ отъ нея подтвержденіе, что она непремѣнно пойдетъ въ монастырь, не возразилъ ей ни одного слова.

Наступила долгая пауза: Лариса плакала, Подозеровъ думалъ. Мысль Лары о монастырѣ подействовала на него чрезвычайно странно. Предъ нимъ точно вдругъ разогнулась страница одного изъ тѣхъ старинныхъ романовъ, къ которымъ Висленевъ намѣревался обратиться за усвоенiemъ себѣ манеръ и приемовъ, сколько-нибудь пригодныхъ для жития въ обществѣ благопристойныхъ женщинъ. Въ памяти Подозерова промелькнули «Чернецъ» и «Таинственная монахиня» и «Тайны Донаретского аббатства», и вслѣдъ затѣмъ вечеръ на Синтянинскомъ хуторѣ, когда отецъ Евангель читалъ напузье па непередаваемомъ французскомъ

языкъ стихи давно забытаго французскаго поэта Климента Маро, оканчивающіеся строфой:

«Ainsi retournement humain se fait».

И Подозерову стало дико. Неужели въ самомъ дѣлѣ колесо совсѣмъ перевернулось, и начинается сначала?.. Но когда же все это случилось и какъ? Неужели это произошло во время его тѣжкой борьбы между жизнью и смертью? Нѣтъ; это стряслось не вдругъ: это шло чередомъ и полосой: мы сами только этого не замѣчали, и нынѣ дивимся, чтѣ общаго между прошлымъ тѣхъ героянъ, которыя замыкались въ монастыри, и прошлымъ сверстницѣ Лары, получившихъ болѣе или менѣе неніятные уроки въ словахъ пророковъ новизны и въ примѣрахъ, ненадолго опередившихъ ихъ мечтательницѣ, кинутыхъ на распутьи жизни съ ихъ обманутыми надеждами и упованіями? Да; есть, однако-же, между ними нѣчто общее, есть даже много общаго: какъ преподаваемые встарь уроки «бабушекъ» проходили безъ проникновенія въ жизнь, такъ прошли по верхамъ и позднѣйшиe уроки новыхъ внушителей. По заслугамъ опороченное, недавнее юродство отрицательницѣ было выставлено пугаломъ для начинающихъ жить юношей и юницѣ послѣдняго пятилѣтія, но въ противовѣсь ему не дано никакого живого идеала, способнаго возвысить молодую душу надъ уровнемъ вседневныхъ столкновеній, теорій и житейской практики. Какъ панацея отъ всѣхъ бѣдъ и неурядицъ ставилась «бабушкина мораль», и къ ней оборотили свои насупленные и недовольные лики юная внучки, съ трепетомъ отрекшіяся отъ ужаснувшаго ихъ движенія «безповоротныхъ» жрицъ недавно отошедшаго или только отходящаго культа; но этотъ поворотъ былъ не поворотъ по убѣждению въ превосходствѣ иной морали, а робкое пяченье назадъ съ протестомъ къ тому, что покинуто, и тайнымъ презрѣніемъ къ тому, куда направилось отступленіе. Изъ отреченія отъ недавнихъ, нынѣ самихъ себя отрицающихъ отрицателей, при полномъ отсутствіи всякаго иного свѣжаго и положительнаго идеала, вышло только новое, полнѣйшее отрицаніе: отрицаніе идеаловъ и отрицаніе отрицанія. Въ жизни явились люди безъ прошлаго и безъ всякихъ, хотя смутно опредѣленныхъ стремлений въ будущемъ. Мужчины изъ числа этихъ перевортней, выбираясь изъ по-

ваго хаоса, ударились по пути іезуитского предательства. Коварство они возвели въ добродѣтель, которою кичились и кичатся до сего дня, не краснѣя и не совѣтясь. Религія, школа, самое чувство любви къ родинѣ,—все это вдругъ сдѣлалось предметомъ самой безсовѣстной эксплоатації. Женщины пошли по ихъ стопамъ и даже обогнали ихъ: вчерашнія отрицательницы брака не пренебрегали никакими средствами обезпечить себя работникомъ въ лицѣ мужа и влекли съ собою неосторожныхъ юношей къ алтарю отрицаемой ими церкви. Этому изыскивались оправданія. Браки заключались для болѣе удобнаго вступленія въ бесконечные новые браки. Затѣмъ посыпались, какъ изъ рога изобилія, просьбы о разводахъ и самые алчные иски на мужей... Все это шло быстро, съ наглостью почти изумительную, и послѣдняя вещь становилась дѣйствительно горше первой.

Въ этой суматохѣ отъ толпы новыхъ лицемѣровъ отдѣлялся еще новѣйший ассортиментъ, который не знаемъ какъ и назвать. Эти гнушались ренегатствомъ, признали за собою превосходство какъ предъ погибающими или уже погибшими откровенными отрицательницами, такъ и предъ коварницами новѣйшаго пошиба; но сами не могли избрать себѣ никакого неосудимаго призванія. Въ своемъ шатаніи онѣ обрѣли себя чуждыми всѣмъ и даже самимъ себѣ, и наибольшее ихъ несчастіе въ томъ, что онѣ чаще всего не сознаютъ этой отчужденности до самыхъ роковыхъ минутъ въ своей жизни. Онѣ не знаютъ, къ чему онѣ способны, куда бы хотѣли и чего бы хотѣли.

Красавица Лариса была изъ числа этихъ обреченныхъ на несносное страданіе существъ послѣдней культуры. Выросши на глазахъ заботливой, но слабой и недальновидной матери, Лариса выслушала отъ брата и его друзей самая суровыя осужденія старой «бабушкиной морали», которой такъ или иначе держалось общество до проповѣданія ученій, осмѣявшихъ эту старую мораль, и она охотно осудила эту мораль, но потомъ еще охотнѣе осудила и ученія, склонившія ее къ первымъ осужденіямъ. Отбросивъ одно за другимъ и то, и другое, она осталась сама ни при чемъ, и такъ и жила, много читая, много слушая, но не симпатизируя ничему.

«У нея пѣть ничего, — рѣшилъ, глядя па нее, Подоз-

ровъ.—Она не обрѣжетъ волосъ, не забредитъ коммуной, не откроетъ швейной: все это для нея пустяки и утопія; но она и не склонить колѣна у алтаря и не помирится со скромною ролью простой, доброй семьянинки. Къ чему ей прилѣпиться и чѣмъ ей стать? Ей нечѣмъ жить, ей не къ чему стремиться, а между тѣмъ дѣвичья пора уходитъ, и особенно теперь, послѣ огласки этой гнусной исторіи, не сладко ей, бѣдняжкѣ!»

И онъ еще посмотрѣлъ на Ларису, и она показалась ему такою бѣдною и беспомощною, что онъ протянулъ ей руку и не успѣлъ одуматься и сообразить, какъ къ рукѣ этой, обхваченной жаркими руками Лары, прильнули ея влажные, трепещущія губы и канула горячая слеза.

Что могло привести Ларису къ такому поступку? Къ нему побудило ее страшное сознаніе круглаго одиночества, недолимый натискъ потребности казнить себя униженіемъ и малодушная надежда, что за этимъ ударомъ ея самолюбію для нея настанетъ возможность стать подъ крыло вполнѣ доброго человѣка, какимъ она признавала Подозерова.

Въ послѣднемъ расчетѣ было кое-что вѣрно.

Больной вскочилъ и дернулъ свою руку изъ рукъ Ларисы, но этимъ самымъ привлекъ ее къ себѣ и почувствовалъ грудь ея у своей груди и заплаканное лицо ея у своего лица.

— О, умоляю васъ,—шептала ему Лара.—Бога ради, не киньте меня вы... Выведите меня изъ моего ужаснаго, страшнаго положенія, или иначе... я погибла!

— Чѣмъ, чѣмъ и какъ я могу помочь вамъ? Приказывайте! говорите!

— Какъ хотите.

— Я сдѣлаю все, что могу... но чтѣ, что я могу сдѣлать! Права заступиться за васъ... я не имѣю... Вы не хотѣли этого сами...

— Это ничего не значить,—горячо перебила его Лара.

Подозеровъ взглянулъ на нее острѣмъ взглядомъ и, прошептавъ: «какъ ничего не значить?»—повернулъ лицо къ стѣнѣ.

— Ничего не значитъ! Возьмите всѣ права надо мною: я ихъ даю вамъ.

Подозеровъ молчалъ, но сердце его сильно забилось.

Лариса стояла на прежнемъ мѣстѣ возлѣ его постели. Въ комнатѣ продолжалось мертвое безмолвіе.

«Чего она отъ меня хочетъ?»—думалъ большой, чувствуя, что сердце продолжаетъ учащенно биться, и что на него отъ Лары опять пышетъ тонкимъ ароматомъ, болѣзненно усиливающимъ его беспокойство.

Онъ рѣшился еще разъ просить Ларису сказать ему, приказать ему, чтѣ онъ долженъ для нея сдѣлать, и, обогородясь къ ней съ этой цѣлію, осталобенѣль. Лариса стояла на колѣняхъ, положивъ голову на край его кровати, и плакала.

— Зачѣмъ, зачѣмъ вы такъ страдаете?—проговорилъ онъ.

— Минъ тяжко... за себя... за васъ... мнѣ жаль... прошедшаго,—отвѣчала, не поднимая головы, Лариса.

У Подозерова захватило дыханіе, и сердце его упало и заныло: онъ, молча, слабою рукой коснулся волосъ на головѣ красавицы и прошепталъ:

— Боже! Да я вѣдь тотъ же, какъ и прежде. Научите меня только, чтѣ же нужно для того, чтобы вамъ было легче? Вы помните, я вамъ сказалъ: я вѣчно, вѣчно другъ вашъ!

Лариса подняла личико и, взглянувъ заплаканными глазами въ пристально на нес глядѣвшіе глаза Подозерова, молча сжала его руку.

— Говорите же, говорите, не мучьте меня: что надо дѣлать?

— Вы за меня стрѣлялись?

— Нѣтъ.

— Вы не хотите мнѣ сказать правды.

Ларисѣ стало досадно.

— Я говорю вамъ правду: я тогда былъ приведенъ къ этому многимъ,—многимъ, и вами въ томъ числѣ, и Александрой Ивановной, и мою личною обидой. Я не знаю самъ хорошо, за что я шелъ.

— За Синтиянину,—прошептала, блѣднѣя и потупляя глаза, Лариса.

— Нѣтъ... не знаю... мнѣ просто... не занимательно жить.

— Почему?—прошептала Лара и, еще крѣпче сжавъ его руку, добавила:—Пусть этого впередъ не будетъ.

— Ну, хорошо; но теперь дѣло не о мнѣ, а о васъ.

Мнѣ тогда будетъ хорошо,—трепеща, продолжала Лариса:—тогда, когда...

Лариса встала на ноги; глаза ея загорѣлись, занавѣсились длинными вѣками и снова распахнулись.

Она теребила и мѣла въ рукахъ руку Подозерова и паконецъ нетерпѣливо сказала, морща лобъ и брови:

— О, зачѣмъ вы не хотите понять меня?

— Нѣтъ; я не умѣю понять васъ въ эту минуту.

— Да, да! Непремѣнно въ эту минуту, или никогда! Андрей, я васъ люблю! Не отвергайте меня! Бога ради, не отвергайте!—настойчиво и твердо выговорила Лара и быстро выбѣжала изъ комнаты.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

На курьерскихъ.

Наступившій за симъ день былъ рѣшителемъ судьбы пѣнника Ларисы. Несмотря на разницу въ нравѣ и образѣ мыслей этого человѣка съ нравомъ и образомъ мыслей Висснерева, съ Подозеровымъ случилось то же самое, что нѣкогда стряслось надъ братомъ Лары. Подозеровъ женился совсѣмъ нехотя, не думая и не гадая. Разница была только въ побужденіяхъ, ради которыхъ эти два лица нашего романа посягнули на бракъ, да въ томъ, что Лариса не искала ничьей посторонней помощи для обвѣнчанія съ собою Подозеровъ, а напротивъ даже, она устранила всякое вмѣшательство самыхъ близкихъ людей въ это дѣло.

Послѣ того случая, который разсказанъ въ концѣ предшествовавшей главы, дѣло уже не могло остановиться и не могло кончиться иначе какъ бракомъ. По крайней мѣрѣ такъ рѣшилъ послѣ безсонной ночи честный Подозеровъ; такъ же казалось и не спавшей всю эту ночь своюенравной Ларисѣ.

Подозеровъ, поворачивая, съ насупленными бровями, свои подушки подъ головой, разсуждалъ: «Эта бѣдная дѣвушка, если въ нее всмотрѣться поближе... самое несчастное существо въ мірѣ. Она просто *никто...* человѣкъ безъ прошлаго! Какъ она все это мнѣ сказала? Именно какъ дитя, въ душѣ котораго рождается невѣдомо что, совсѣмъ новое и необычайное никакимъ прошлымъ... Съ ней нельзя обходиться какъ со взрослымъ человѣкомъ: ее нужно жалѣть и беречь...

особенно... теперь, когда этот мерзавецъ ее такъ уронилъ... Но кто же станетъ теперь жалѣть и беречь? Я долженъ на ней жениться, хотя и не чувствую къ тому теперь любовнаго влечения. Да и не все ли мнѣ равно: люблю ли я ее страстной любовью, или не люблю? Я, правда, не Печоринъ, но я равнодушенъ къ жизни. Я вникалъ въ нее, изучалъ ее и убѣдился, что вся она пустяки, вся не стойте хлопотъ и заботъ... Все, чтѣ я встрѣчалъ и видѣль, все это тлѣнъ, суета и злоба; мнѣ надоѣло далѣе все это разматривать. Я слишкомъ поздно узналъ женщину, которая не есть злоба и суета, и тлѣнъ, и эта женщина взяла надо мной какое-то старшинство... и мнѣ пріятна эта власть ея надо мной; но кто сама эта женщина?—Жертва. Въ ея жертвѣ ея прелестъ, ея обаяніе, и ея совершенство въ громадности любви ея... любви безъ критики, безъ анализа...»

И въ памяти Подозерова пронеслась вся его бесѣда въ хуторной рощицѣ съ Синтиниой, и съ каждымъ вспомянутымъ словомъ этой бесѣды все ближе и ближе, яснѣй и яснѣй являлась предъ нимъ генеральша, съ ея логикой простой, нехитростной любви.

«Великій Господи! Насколько вся эта христіанская простота и покорность выше, прекраснѣе и сильнѣе всего, чтѣ я видѣль прекраснаго и сильнаго въ наилучшихъ мужчинахъ? Какъ гадко мнѣ теперешнее мое раздумье, когда бѣдная дѣвушка, которую я любилъ, оклеветана, опозорена въ этомъ мелкомъ мірѣ, и когда я, будучи властенъ поставить ее на ноги, раздумываю: сдѣлать это, или не дѣлать? Почему же не дѣлать? Потому что она не выдерживаетъ моей критики и сравненій съ другою. А развѣ я самъ выдерживаю съ тою какое-нибудь сравненіе? О чемъ тутъ думать, когда бѣдная Лара уже прямо сказала, что она меня любить и что ей не къ кому, бѣдняжкѣ, примкнуть. Чтѣ мнѣ мѣшаетъ называть ее своею женой? Я разубѣдился немножко въ Ларисѣ; предо мною мелькнуло невыгодное для нея сравненіе, и только... И моя любовь рухнула отъ критики, ее одолѣла критика. Что же, еслиъ она, эта страдалица, взглянула теперь въ мое сердце? Какъ бы она должна была презирать меня съ моей минутною любовью! Нѣтъ; это значитъ, что я не любилъ Ларису прежде, что она лишь нравилась мнѣ, какъ могла нравиться и Горданову... что я любилъ въ ней тогда мою утѣху, мою мечту о счастіи, а

счастье... счастье въ томъ, чтобы чувствовать себя слугой чужого счастья. Это одно, это одно только вѣрно, и кто хочетъ дожить жизнь въ мирѣ съ самимъ собою, тотъ долженъ руководиться одною истиной... Все другое къ этому само приложится. Какъ?.. Но, Господи, будто можно знать, чтѣ къ чему и какъ приложится? Надо просто дѣлать то, что можно дѣлать, чтѣ требуетъ счастіе ближняго въ эту данную минуту».

Съ такими мыслями Подозоровъ слегка забылся предъ утромъ и съ ними же, открывъ глаза, увидѣлъ предъ собою Ларису и протянулъ ей руку.

Лара опустила глаза.

— Вы не отчаявайтесь,—сказалъ ей тихо Подозоровъ.— Все поправимо.

Она пожала едва замѣтнымъ движеніемъ его руку.

— Ошибки людямъ свойственны; не вы однѣ имѣли несчастіе полюбить недостойнаго человѣка,—продолжалъ Андрей Ивановичъ.

— Я его не любила,—прошептала въ отвѣтъ Лариса.

— Ну, увлеклись, довѣрились... Все это вздоръ! Повѣрьте, все вздоръ, кроме одного добра, которое человѣкъ можетъ сдѣлать другому человѣку.

— Вы ангель, Андрей Иванычъ!

— О, нѣть! Не преувеличивайте, пожалуйста! Я человѣкъ, и очень дурной человѣкъ. Посмотрите, куда я гожусь въ сравненіи со многими другими, которые вамъ сочувствуютъ?

Лара молча вскинула на него глазами и какъ бы спрашивала этимъ взглядомъ: кого онъ разумѣеть?

— Я говорю объ Александрѣ Ивановнѣ и о майоришѣ.

— Ахъ, онѣ!—воскликнула, спохватившись, Лариса и, насыпивъ бровки, добавила шепотомъ:—Я вамъ вѣрю больше всѣхъ.

— Зачѣмъ же больше?.. Нѣть, васъ любятъ нѣжно... проданно и Форовы, и генералыша...

— А вы?—спросила вдругъ съ тревогой Лара.

— И я.

— Вы меня прощаете?

— Прощаю ли я васъ?

— Да?

— Въ чемъ же прощать?

- Ахъ, не говорите со мною такимъ образомъ!
— Но вы ни въ чёмъ предо мною не виноваты.
— Нѣть, это не такъ, не такъ!
— Совершенно такъ: я васъ любилъ, но... но не нравился вамъ... И что же тутъ такого!
— Это не такъ, не такъ!
— Не такъ?
— Да, не такъ.
- Лара закрыла ладонью глаза и прошептала:
- Не мучьте же меня; я уже сказала вамъ, что я люблю васъ.
- Вы ошибаетесь,—отвѣтилъ, покачавъ головой, Подозеровъ.
- Нѣть, нѣть, нѣть, я не ошибаюсь: я васъ люблю.
- Нѣть, вы очень ошибаетесь. Въ васъ говорить теперь жалость и состраданіе ко мнѣ, но все равно. Если бъ я не надѣялся найти въ себѣ силы устраниТЬ отъ васъ всякий поводъ прійти современемъ къ сожалѣнію объ этой ошибкѣ, я бы не сказала вамъ того, что скажу сю се-кунду. Отвѣчайте мнѣ прямо: хотите ли вы быть моей женой?
- Да!
- Дайте же вашу руку.

Лариса задрожала, схватила трепещущими руками его руку и второй разъ припала къ ней горячими устами.

Подозеровъ отдернулъ руку и, покраснѣвъ, вскричать:

— Никогда этого не дѣлайте!

— Я такъ хочу!.. Оставьте!—простонала Лариса и, обвивъ руками шею Подозерова, робко нашла устами его уста. Подозеровъ сдѣлалъ невольное, хотя и слабое, усилие отвернуться: онъ понялъ, что за человѣкъ Лариса, и въ душѣ его мелькнуло... презрѣніе къ невѣстѣ

Боже, какая это разница въ сравненіи съ тою, другою женщиной, образъ которой нарисовался въ это мгновеніе въ его памяти! Какую противоположность представляетъ это судорожное метанье съ тѣмъ твердымъ, самообладающимъ спокойствіемъ той другой женщины!..

Лариса въ это время тоже думала о той самой женщинѣ и проговорила:

— Въ эту важную минуту я васъ прошу только объ од-
номъ, исполните ли вы мою просьбу?

— Конечно.

Лариса крѣпко сжала обѣ руки своего жениха и, краснѣя и потупляясь, проговорила:

— Пощадите мое чувство!

Подозеровъ посмотрѣлъ на нее молча.

Лариса выбросила его руки и, закрывъ ладонями свое пылающее лицо, прошептала:

— Не вспоминайте мнѣ...

Она опять остановилась.

— О чѣмъ? Ну, договаривайтѣ смѣло, о чѣмъ?

— О Синтияниной.

Подозеровъ промолчалъ. Лариса становилась ему почти противна; а она, уладивъ свою судьбу съ Подозеровымъ, виала въ новую суету и вовсе не замѣчала чувства, какое внушила своему будущему мужу...

Подозеровъ обрадовался, когда Лариса тотчасъ послѣ этого разговора вышла, не дождавшись отъ него отвѣта. Онъ всталъ, заперъ за нею дверь и задумался... О чѣмъ? О томъ сѣдомъ кавказскомъ капитанѣ, который въ извѣстномъ разсказѣ графа Льва Толстого, готовясь къ смертному бою, ломалъ голову надъ рѣшеніемъ вопроса, возможна ли ревность безъ любви? Подозеровъ имѣлъ предъ глазами живое доказательство, что такая ревность возможна, и ревнивая выходка Лары была для него противнѣе извѣстной ему ревности ея брата въ Павловскомъ паркѣ и сто разъ недостойнѣе ревности генерала Синтиянина.

«Однако, съ нею и не такъ легко, должно быть, будетъ,— подумалъ онъ.— Да, не легко; но вѣдь только на картинахъ рисуютъ разбойниковъ въ плащахъ и съ перьями на шляпахъ, а иницету съ душистою геранью на окнѣ; на самомъ дѣлѣ все это гораздо хуже. И на словахъ тоже говорятъ, что можно жить не любя... да. можно, но каково это?»

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Еще шибче.

События эти, совершившіяся въ глубокой тайнѣ, разумѣется, не были никому ни однимъ словомъ выданы ни Подозеровымъ, ни Ларисой; но тонкій и необъяснимо наблюдательный во всѣхъ подобныхъ вещахъ женскій взглядъ прозрѣлъ ихъ.

Катерина Астафьевна, навѣстивъ вечеромъ того же дня племянницу, зашла прямо отъ нея къ генеральшѣ и сказала, за чашкой чаю, послѣдней:

— А наша Лариса Платоновна что-то устроила!

— Что же такое она могла устроить? — спросила генеральша.

— Не знаю; сейчасъ я была у нихъ, и они что-то оба очень вѣжливо другъ съ другомъ говорятъ и глазки потупляютъ.

— Ну, ты, Катя, кажется, опять сплетничашь.

— Сходи, матушка, сама и посмотри; навѣсти больного-то послѣ того, какъ онъ поправился.

Форова подчеркнула послѣднее слово и, протягивая на прощанье руку, добавила:

— Въ самомъ дѣлѣ, онъ говорилъ, что очень желалъ бы тебя видѣть.

Съ этимъ майорша ушла домой; но, посѣтивъ на другой день Синтянину, тотчасъ же, какъ только усѣлась, запытала:

— А что же, видѣла?

— Видѣла, — отвѣчала, не безъ усилия улыбнувшись, Александра Ивановна.

— Ну и поздравляю; а ничего бы не потеряла, если бъ и не глядя повѣрила мнѣ.

Синтянина объявила, что Лариса сказала ей, что она выходитъ замужъ за Подозерова.

— Это смѣхъ! — отвѣтила майорша. — Отъ досады замужъ идетъ! Или она затѣмъ выходитъ, чтобы показать, что на ней еще и послѣ амуровъ съ Гордашкой честные люди могутъ жениться! Что же, дуракамъ законъ не писанъ: пусть хватить шиломъ нашей патоки!.. Когда же будетъ эта ихъ «маланьина свадьба»?

— Онъ мнѣ сказалъ, что скоро... На этихъ дняхъ, черезъ недѣлю или черезъ двѣ.

— Пропалъ, братъ, ты, бѣдный Андрей Иванычъ!

— Полно тебѣ, Катя, пророчить.

— А не могу я не пророчить, милая, когда даръ такой имѣю.

— Даръ! — Генеральша улыбнулась и спросила: — Что же ты, святая, что ли, что тебѣ данъ даръ пророчества?

— Ну, вотъ, святая! Святая ли или клятая, а проро-

чествую. Валаамова ослица тоже вѣдь не свята была, а прорекала.

Въ эту минуту въ комнату взошелъ майоръ Форовъ и рассказалъ, что онъ сейчасъ встрѣтилъ Ларису, которая неожиданно сообщила ему, что выходитъ замужъ за Подозерова и просить майора быть ея посаженymъ отцомъ.

— Чудесно!—воскликнула истергѣливая Катерина Астафьевна:— одна я пока еще осталась въ непосвященныхъ! Что же, ты ее похвалилъ и поздравилъ?— обратилась она къ мужу.

— А разумѣется поздравилъ и похвалилъ,— отвѣчалъ майоръ.

— И даже похвалилъ?

— Да вѣдь сказано же тебѣ, что похвалилъ.

— Мне кажется, что ты все это врешь.

— Нимало не вру; его бы я не похвалилъ, а ее отчего же не хвалить?

— Потому что это подлость.

— Какая подлость? Никакой я тутъ подлости не вижу. Вольно же мужчинѣ дѣлать глупость — жениться,— къ бабѣ въ батраки идти; а женщины дуры были бы, если бъ отъ этого счастья отказывались. Въ чёмъ же тутъ подлость? Это принятіе подданства, и ничего больше.

— За что же ты Іосафову свадьбу осуждалъ?

— А-а! тамъ дѣло другое: тамъ принужденіе!

— А здѣсь умаливанье, просьбы.

— Почему ты это знаешь?

— Такъ: я пророчица.

— Ну и что же такое, если и просьбы? Она, значитъ, умная барышня и политичная; устраивается какъ можетъ.

— Передовая!

— А конечно; впередъ всѣхъ идетъ и честно проситъ: мнѣ-де штатный дуракъ нуженъ, — не согласитесь ли вы быть моимъ штатнымъ дуракомъ? И что же, если есть такой согласный? И прекрасно! Хвалю ее, поздравляю и даже образомъ благословлю.

— Да ты еще знаешь ли, какъ благословляютъ-то обра-
зомъ?

— Нѣть, не знаю, но я сейчасъ прямо отсюда къ Еван-
гелу пойду и спрошу.

— Нѣть, по мнѣ эта свадьба сто разъ хуже нигилисти-

ческой Ясафкиной свадьбы въ Петербургѣ, потому что эта просто чортъ знаетъ зачѣмъ идеть замужъ!

— Имѣть выгоды,—отвѣчалъ майоръ.

— Да; она репутацію свою исправлять; но его-то, его-то, шута, чтѣ волочитъ въ эту гибель?

— Его?.. А что же, это и ему хорошо: это тѣлить его испанское дворянство. И благо имъ обоимъ: пусть себѣ совершаются.

— Ну, пропадать же имъ! Въ этомъ бракѣ несчастіе и погибель.

— Отчего же погибель? — отозвался майоръ. — Мало ли людей бываютъ несчастливы въ бракѣ, но находять свое счастіе за бракомъ.

— Да, вотъ это что!—вспылила Катерина Астафьевна:— такъ по-твоему, чтѣ такое бракъ? Вздоръ, форма, фить — и ничего болѣе.

— Бракъ?.. нынче это для многихъ женщинъ средство перемѣнить мужей и не слыть ингилисткой.

— Вы дуракъ, господинъ майоръ!—проговорила, побагровѣвъ, майорша.

— Это какъ угодно,—я говорю, какъ понимаю.

— А ты зачѣмъ сюда пришелъ?

— Да я къ Евангелу въ гости иду и за новымъ журналомъ зашель, а больше ни за чѣмъ: я ругаться съ тобою не хочу.

— Ну, такъ бери книгу и отправляйся вонъ, гадостный ингилистъ. Сѣдыхъ волосъ-то своихъ постыдился бы!

— Я ихъ и стыжусь, но не помогасть,—все больше сѣдѣютъ.

Послѣ этихъ словъ Форовъ незлобливо простился и ушелъ, а черезъ десять дней отецъ Евангель, въ небольшой деревенской церкви, сочetalъ нерушимыми узами Подозерова и Ларису. Свадьба эта, которую майорша называла «маланьиной свадьбой», совершилась тихо, при однихъ свидѣтеляхъ, послѣ чего у молодыхъ былъ скромный ужинъ для близкихъ людей. Веселья не было никакого, напротивъ, все вышло, по мнѣнию Форовой, «не по-людски».

Невѣста приѣхала въ церковь озабоченная, сердитая, уѣхала съ мужемъ надутая, встрѣтила гостей у себя дома разсѣянно и сидѣла за столомъ недовольная.

Лариса понимала, что она выходитъ замужъ какъ-то

очень не серьезно, и чувствовала, что это понимает не одна она, и вследствие того она ощущала досаду на всехъ, особенно на тѣхъ, кто былъ определенъ ея, а таковы были все. Особенно же ей были непрѣятны всякия превосходства въ сравненіяхъ: она какъ бы боялась ихъ, и въ этомъ-то родѣ опредѣлялись ея отношенія къ Синтииной. Лара не ревновала къ ней мужа, но она боялась не совладѣть съ нею, а къ тому же постѣ вѣнчанія Лариса начала думать: не напрасно ли она поторопилась, что, можетъ-быть, лучше было бы... уѣхать куда-нибудь, вместо того, чтобы выходить замужъ.

«Маланьина свадьба» выходила прескучная!

Никакія попытки друзей придать оживленіе этому бѣдному торжеству не удавались, а напротивъ, какъ-будто еще болѣе портили вечеръ.

Поэтический отецъ Евангель явился съ цѣлью запасомъ теплоты и свѣтлоты: поздравилъ молодыхъ, весь сияя радостю и доброжеланіями, подаль Подозерову отъ своего усердія небольшую икону, а Ларисѣ преподнесъ большой вѣнокъ, добытый имъ къ этому случаю изъ бодростинскихъ оранжерей. Поднося цвѣты, «поэтический попъ» привѣтствовалъ красавицу-невѣstu восторженными стихами, въ которыхъ величалъ женщину «жемчужиной въ вѣнкѣ твореній». «Ты вся любовь! Ты вся любовь!» восклицалъ онъ своимъ звонкимъ теноромъ, держа предъ Ларисой вѣнокъ:

Всѣ дни твои—кругомъ извитыя ступени
Широкой лѣстницы любви.

Онъ декламировалъ, указывая на Подозерова, что сї «дано его поконить; судьбу и жизнь его дѣлить; его все радости удвоить, его печали раздвоить», и заключилъ свое поэтическое поздравленіе словами:

И я, возникшій для волненія
За жизнь собратій и мою,
Тебѣ вѣнецъ благословенія
Отъ всѣхъ рожденныхъ подаю.

И съ этимъ онъ, отмахнувшись полу своей голубой кашемировой рясы на коричневомъ подбоѣ и держа въ рукахъ вѣнокъ предъ своими глазами, подалъ его воспѣтой имъ невѣстѣ.

Евангелу зааплодировали и Синтиина, и Форовъ, и Катерина Астафьевна, и даже его собственная попадья. Да и

невозможно было оставаться равнодушнымъ при видѣ этого до умиленія восторженного священника.

Попъ Евангель и въ самомъ дѣлѣ былъ столько прекрасенъ, что вызывалъ восторги и хваленія. Этому могла не поддаться только одна виновница торжества, то-есть сама Лариса. Лариса нашла эту восторженность не идущую къ дѣлу, и усилившимся недовольнымъ выражениемъ лица дала почувствовать, что и величаніе ее «жемчужиной въ вѣнѣ твореній», и воспѣваніе любви, и указаніе облзанности «его печали раздвоить», и наконецъ самый вѣнокъ,—все это напрасно, все это ей не нужно, и она отнюдь не хочетъ ври-совывать себя въ пасторально-буколическую картину, начертанную Евангеломъ. Лариса постаралась выразить все это такъ внушительно, что не было никого, кто бы ея не понялъ, и майоръ Форовъ, чтобы перебить непріятную на-тинутость и вмѣстѣ съ тѣмъ слегка наказать свою каприз-ную племянницу, вмѣшался съ своимъ тостомъ и сказалъ:

— А я вамъ, уважаемая Лариса Платоновна, покроту, какъ хохлы, скажу: «будь здорова якъ корова, щедровата якъ земля и плодовита якъ свинья!» Желаю вамъ сто лѣтъ здравствовать и двадцать на четверенькахъ ползать!

При этой шуткѣ старого циника Лариса совсѣмъ вспылила и хотя промолчала, но покраснѣла отъ досады до самыхъ ушей. Не удавалось ничто, и гости рано стали прощаться. Лариса никого не удерживала и не провожала да-лѣе залы. Подозеровъ одинъ благодарилъ гостей и жаль имъ въ передней руки.

Съ Ларисой оставалась одна Синтянина, но и та ее черезъ минуту оставила.

Лара отвергнула услуги генеральши, желавшей быть при ея туалѣтѣ, и Александра Ивановна, принимая въ перед-ней изъ рукъ Подозерова свою шаль, сказала ему:

— Ну, идите теперь къ вашей женѣ. Желаю вамъ съ нею безконечнаго счастія. Любите ее и... и... больше ничего, любите ее, по англійскимъ обѣтамъ брака, здоровую и боль-ную, счастливую и несчастную, утыпающую васъ или... да, однимъ словомъ, любите ее всегда, вѣчно, при всѣхъ слу-чайностяхъ. Въ твердой рѣшимости любить такая великая сила. Затѣмъ еще разъ: будьте счастливы и процветайте!

Она крѣпко сжала его руку и твердою поступью вышла за дверь, ключъ которой поверотился за генеральшией одпо-

временно съ ключомъ, щелкнувшимъ въ замкѣ спальни Ларисы, искашней въ тишинѣ и уединеніи исхода душившей ее досады на то, что она вышла замужъ, на то, что на свѣтѣ есть люди, которые поступаютъ такъ или иначе, зная, почему они такъ поступаютъ, на то, что она лишена такого вѣдѣнія и не знаетъ, гдѣ его найти, на то, наконецъ, что она не видить, на чтѣ бы ей разсердиться.

И благой рокъ помогъ ей въ этомъ: прекрасные глаза ея загорѣлись гнѣвомъ и ноздри расширились: она увидѣла прощеніе генералыши съ ся мужемъ и нашла въ этомъ непримиримую обиду.

Она заперлась въ спальнѣ и предоставила своему мужу полную свободу размышлять о своей выходкѣ наединѣ въ его кабинетѣ.

Что могло объѣщать такое начало и какъ его принялъ молодой мужъ красавицы Ларисы?

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Майоръ и Катерина Астафьевна.

У Катерины Астафьевны, несмотря на ея чувствительные нервы, отъ природы было желѣзное здоровье, а жизнь еще крѣпче закалила ее. Происходя отъ бѣдныхъ родителей и никогда не бывъ красивою, хотя, впрочемъ, она была очень миловидною, Катерина Астафьевна не находила себѣ жениха между губернскими франтами и до тридцати лѣтъ жила при своей сестрѣ, Висленевой, бѣгая по хозяйству, да купая и пянячая ея дѣтей. Изъ этой роли ее вывела Крымская война, когда Катерина Астафьевна, по неодолимымъ побужденіямъ своего кишучаго сердца, поступила въ общину сестеръ милосердія и отбыла всю тяжкую оборону Севастополя, служила выздоравлившимъ и умиравшимъ его защитникамъ, великия заслуги которыхъ отечеству оцѣнены лишь нынѣ. Тамъ же, въ Крыму, Катерина Астафьевна выхолила и вынянчила привезеннаго къ ней съ перевязочного пункта майора Форова и, ухаживая за нимъ, полюбила его какъ прямого, отважнаго и безкорыстнѣйшаго человѣка. Полюбить известныя достоинства въ человѣкѣ для Катерины Астафьевны значило полюбить самого этого человѣка; она не успѣла пережить самыхъ первыхъ восторговъ по поводу разсказовъ, которыми оживавшій Фор-

ровъ очаровалъ ее, какъ Отелло очаровать свою Дездемону,— какъ уже дѣло было сдѣлано: искренняя простолюдинка, Катерина Астафьевна всѣмъ существомъ своимъ привязалась къ дружившему съ солдатами и огрызавшемуся на старшихъ Филетеру Ивановичу. Майоръ отвѣтчать ей тѣмъ же, и хотя они другъ съ другомъ ни о чёмъ не условливались и въ любви другъ другу не объяснялись, но когда майоръ сталъ, къ концу кампании, на ноги, они съ Катериной Астафьевной очутились вмѣстѣ, спачала подъ обозною фурой, потомъ въ татарской мазанкѣ, потомъ на постояломъ дворѣ, а тамъ уже такъ и закочевали вдвоемъ по городамъ и городишкамъ, куда гоняла майора служба, до тѣхъ поръ, пока онъ, наконецъ, вылетѣлъ изъ этой службы по поводу той же Катерины Астафьевны. Дѣло это заключалось въ томъ, что невѣрующій майоръ Филетеръ Ивановичъ, соединясь неразлучнымъ союзомъ съ глубоко вѣрующею и убѣжденною, но крайне оригиналной Катерины Астафьевной, лѣтъ восемь кряду забывалъ перевѣничаться съ нею. Пока они кочевали съ полкомъ, имъ ничто и не напоминало объ этомъ упущеніи. Катерина Астафьевна, при ея вѣчномъ и неуклонномъ стремленіи вмѣшиваться во всякое чужое горе и помогать ему по своимъ силамъ и разумѣнію, къ своимъ собственнымъ дѣламъ обнаруживала полное равнодушіе, а майоръ еще превосходилъ ее въ этомъ. Катерина Астафьевна была любимицей всѣхъ, начиная съ полкового командира и кончая послѣднимъ фурштатомъ. Солдаты же того баталіона, которымъ командоваль майоръ, просто боготворили ее: всѣ они знали Катерины Астафьевны, и Катерина Астафьевна тоже всѣхъ ихъ знала по именамъ и по достоинствамъ. Она была ихъ утѣшительницей, душеприказчицей, казначеемъ, лѣкаремъ, духовною матерью: ей первой бѣжалъ солдатикъ открыть свое горе, заключавшееся въ потерѣ штыка, или въ иной подобной бѣдѣ, значенія которой не понять тому, кто не носилъ ранца за плечами,— и Катерина Астафьевна не читала никакихъ моралей и наставленій, а прямо помогала какъ находила возможнымъ. Ей мастеровой солдатъ отдавалъ на сбереженіе свой тяжкимъ трудомъ собранный грошъ; ее звали къ себѣ умирающіе и изустно завѣщали ей, какъ распорядиться бывшими у нея на сохраненіи пятью или шестью рублями, къ ней же приходили на духъ тѣ, кого «бѣсь смущалъ» сбѣжать или сдѣлать другую гадость,

давали ей слово воздержаться и просили прочитать за нихъ «тайный акахистъ», чemu многіе смущаемыя солдатики приписываютъ неодолимое значеніе. Катерина Астафьевна со всѣмъ этимъ умѣла управляться въ совершенствѣ, и такая жизнь, и такие труды не только нимало не тяготили ее, но она даже почитала себя необыкновенно счастливою и, какъ въ пѣснѣ поется, «не думала ни о чёмъ въ свѣтѣ тужить».

Враговъ или такихъ недруговъ, которымъ бы она добра не желала, у нея не было. Если она замѣчала между товарищами майора людей не совсѣмъ хорошихъ, то старалась извинять ихъ воспитаніемъ и т. п., и все-таки не выдавала ихъ и не уклонялась отъ ихъ общества. Исключение составляли люди надменные и хитрые: этихъ Катерина Астафьевна, по прямотѣ своей натуры, ненавидѣла; но, во-первыхъ, такихъ людей, слава Богу, было немного въ армейскомъ полку, куда Форовъ попалъ по своему капризу, несмотря на полученное имъ высшее военное образованіе; во-вторыхъ, майоръ, весьма равнодушный къ себѣ самому и, повидимому, никогда не заботившійся ни о какихъ выгодахъ и ~~да~~ Катерины Астафьевны, не стерпѣлъ бы ни малѣйшаго оскорблениія, ей сдѣланнаго, и наконецъ, въ-третьихъ, «майорша» и сама умѣла постоять за себя и дать сдачи заносчивому чванству. Поэтому ее никто не трогалъ, и она жила прекрасно.

Но при всемъ своемъ прямодушии, незлобіи и добротѣ, не находившей униженія ни въ какой услугѣ ближнему, Катерина Астафьевна была, однако, очень горда. Не любя жеманства и всякой сентиментальности, она не переносила невѣжества, нахальства, заносчивости и фанфаронства, и Боже сохрани, чтобы кто-нибудь попытался третировать ее ниже того, какъ она сама себя ставила: она *отдѣльывала* за такія вещи такъ, что человѣкъ этого потомъ во всю жизнь не позабывалъ.

Солдаты, со свойственною имъ отличною мѣткостью опредѣленій, говорили про Катерину Астафьевну, что она не живетъ по пословицѣ: «хоть горшкомъ меня зови, да не ставь только къ жару», а что она наблюдаетъ другую пословицу: «хоть полы мною мой, но не называй меня трапкой».

Это было совершенно вѣрное и мастерское опредѣленіе характера Катерины Астафьевны, и въ силу этого-то са-

маго характера столь терпѣливая во всѣхъ нуждахъ и лишніяхъ подруга майора не стерпѣла, когда при перемѣнѣ полкового командира, вновь вступившій въ командование полковникъ, изъ старыхъ товарищей Форова по военной академіи, не пригласилъ ее на полковой балъ, куда были позваны жены всѣхъ семейныхъ офицеровъ.

Катерина Астафьевна горячо приняла къ сердцу эту обиду и, не укоряя Форова, поставившаго ее въ такое положеніе, велѣла денщику стащить съ чердака свой старый чемоданъ и начала укладывать свои немудрые пожитки.

Хотѣла ли она разстаться съ майоромъ и куда-нибудь уѣхать? — это осталось ей тайной; но майоръ, увидѣвъ эти сборы, тотчасъ же надѣлъ мундиръ и отправился къ полковому командиру съ просьбой обѣ отставкѣ.

На вопросъ удивленного полковника: зачѣмъ Форовъ такъ неожиданно покидаетъ службу, Филетерь Ивановичъ рѣзко отвѣчалъ, что онъ «съ подлецами служить не можетъ».

— Что это значитъ? — громко и сердито вскрикнулъ на него полковой командиръ.

— Ничего больше какъ то, что я не хочу служить съ тѣмъ, кто способенъ обижать женщину, и грому васъ сдѣлать распоряженіе обѣ увольненій меня въ отставку. А если вамъ угодно со мною стрѣляться, такъ я готовъ съ моимъ удовольствиемъ.

Полковой командиръ не захотѣлось затѣвать «исторіи» съ Филетеромъ Ивановичемъ на первыхъ порахъ своего командинства, и майоръ Форовъ благополучно вылетѣлъ въ отставку.

Съ Катериной Астафьевной у Форова не было никакихъ объясненій: они совершенно освоились съ манерой жить, ничего другъ другу не ставя на видъ и не внушая, но въ совершенствѣ понимая одинъ другого безъ всякихъ разговоровъ.

Вскорѣ за симъ Катерина Астафьевна сдала плачущимъ солдатамъ всѣ хранившіяся у нея на рукахъ ихъ собственныя деньги, а затѣмъ майоръ рас простился съ своимъ батальономъ, сѣлъ съ своею подругой въ рогожную кибитку и поѣхалъ.

За заставой ждалъ ихъ сюрпризъ: въ темной луговинѣ, у моста, стояла куча солдатъ, которые, при приближеніи майорской кибитки, сияли шашки и зарыдали.

Майоръ, натолкнувшись на эту засаду, задергался и застутился.

— Чего? чего, дурачье, высыпали? а? Попали назадъ! Васъ вотъ палками за это взлупиять! — закричалъ онъ, стараясь въ зычномъ окрикѣ скрыть дрожанье голоса, измѣнившаго ему отъ слезъ, поднимавшихся къ горлу.

Солдаты плакали; Катерина Астафьевна тоже плакала и, развязавъ за спиной майора кошелочку съ яблоками, печеными яйцами и пирогами, заготовленными на дорогу, стала бросать эту провизію солдатамъ, которые сю же минуту обсыпали кибитку, нахлынули къ ней и начали ловить и цѣловать ея руки.

— Фу, пусто вамъ будь! — воскликнулъ майоръ: — вы, каналы, этакъ просто задавите! — И онъ, вскочивъ изъ кибитки, скомандовалъ къ кабаку, купилъ ведро водки, роспилилъ ее со старыми товарищами и наказалъ имъ служить вѣрой и правдой и слушаться начальства, далъ старшему изъ своего скучного кошелька десять рублей и сѣлъ въ повозку; но, садясь, онъ почувствовалъ въ ногахъ у себя что-то теплое и мягкое, живое и слегка визжащее.

— Стой! Чѣдъ это такое тутъ возится? — запыталъ удивленный майоръ.

— Драдедамъ, ваше высокоблагородіе, — конфузливо отвѣчалъ ему шепотомъ ближе другихъ стоявшій къ нему солдатикъ.

Майоръ выразилъ изумленіе. «Драдедамъ» было не что иное, какъ превосходная легавая собака чистѣйшей, столь рѣдкой нынѣ маркловской породы. Собака эта, составлявшая предметъ всеобщей зависти, принадлежала полицеймейстеру города, изъ котораго уѣзжалъ майоръ. Эту собаку, имѣвшую кличку Трафаданъ и переименованную солдатами въ «Драдедама», полицеймейстеръ цѣнилъ и берегъ какъ зѣницу ока. Родовитаго пса этого сторожила вся поліція гораздо бдительнѣе, чѣмъ всю остальную собственность цѣлаго города, и вдругъ этотъ рѣдкій пестъ, этотъ Драдедамъ, со стиснутую ремнемъ мордой и завязанный въ рѣдинный мѣшокъ, является въ ногахъ, въ кибиткѣ отѣзжашаго майора!

— Ребята! Что же вы это, съ ума, что ли, сошли, чтобы меня съ краденой собакой изъ полка выпроваживать? Кто васъ этому научилъ? — заговорилъ майоръ.

— Никто, ваше высокоблагородие; мы по своему усердью васъ награждаемъ.

— Чудовый кобель, ваше высокоблагородие! — подхватывали другіе.

— Берите, берите, ваше высокоблагородие! мы вамъ жертвуемъ Драдедашку! — вскрикивали третыи. — Пошелъ, братецъ ямщикъ, пошелъ, пошелъ!

И солдатики загагайкали на лошадей и замахали руками.

— Стойте, дураки; развѣ благородно намъ воровскую собаку увезть?

— Эхъ, ваше высокоблагородие! Отецъ вы нашъ, командирша-матушка: да что вамъ на это глядѣть? Да развѣ вы похожи на благородныхъ? Ну, ну! Эхъ вы, голубчики! Пошелъ, ямщикъ, пошелъ, пошелъ!

И по тройкѣ со всѣхъ сторонъ захлестали сломанные съ придорожныхъ ракитъ прутыя; лошади рванулись и понеслись, не чуя сдерживавшихъ ихъ вожжей.

А вслѣдъ еще долго слышались подгонные крики: «Ну, ну! Валяй, валяй, ребята! Прощайте, нашъ отецъ съ матерью!.. Прощай, Драдедашка!»

Подъ эти крики едва державшійся на облучкѣ ямщикъ и отчаявшійся въ свое мѣсто благополучіи майоръ и Катерина Астафьевна и визжавшій въ мѣшокъ Драдедамъ во мгновеніе ока долетѣли на перенуганной тройкѣ до крыльца слѣдующей почтовой станціи, гдѣ привычные кони сразу стали.

Здѣсь майоръ хотѣлъ сейчасъ же высвободить изъ мѣшка и отпустить назадъ полученную имъ «въ награду» краденную полицеймейстерскую собаку, какъ ямщикъ подступилъ къ нему съ совѣтомъ этого не дѣлать.

— Все единственно это, — заговорилъ онъ: — пусть ужъ она лучшее пропадеть, ваше высокоблагородие, а только тутъ не вытаскивайте; смотритель увидитъ, все разбрешется, и кавалерамъ за это достанется.

— И то правда! — смекнулъ майоръ и добавилъ: — а ты же, каналья, развѣ не расскажешь?

— Да мнѣ что жъ казать? У меня у самого братья въ солдатахъ есть.

— Ну, такъ что жъ, что братья твои въ солдатахъ служатъ?

— А должны же мы хорошихъ начальниковъ почитать. Винь, вонь, что сказали, что вы, баять, на благороднаго-то не похожи.

Майоръ далъ ямщику полтину и покатилъ далѣе съ Катериной Астафьевной и съ Драдедамомъ, котораго оба они стали съ той поры любить и холить, какъ за достоинство этой доброй и умной собаки, такъ и за то, что она была для нихъ воспоминаніемъ такого оригинального и теплаго прощанія съ простосердечными друзьями.

ГЛАВА ДЕВЯТИНАДЦАТАЯ.

О тѣхъ же самыихъ.

Прибывъ въ городъ, гдѣ у Катерины Астафьевны былъ извѣстный намъ маленький домикъ съ наглою забитыми воротами, изгнанный майоръ и его подруга водворились здѣсь вмѣстѣ съ Драдедамомъ. Пронель годъ, два и три, а они попрежнему жили все въ тѣхъ же неоформленныхъ отношеніяхъ, и очень возможно, что дожили бы въ нихъ и до смерти, если бы нѣкоторая невинная хитрость и нѣкоторая благоразумная глупость не поставила эту оригинальную чету въ законное соотношеніе.

Филетеръ Форовъ, выйдя въ отставку и водворясь среди родства Катерины Астафьевны, сначала былъ предметомъ нѣкотораго недоброжелательства и косыхъ взглядовъ со стороны Ларисиной матери; да и сама Лара, подрастая, стала смущаться по поводу отношений тетки къ Форову; но Филетеръ Ивановичъ не обращалъ на это вниманія. Майоръ Филетеръ Ивановичъ не искалъ ни друзей, ни пріятелей; онъ повторялъ на все свое любимое «наплевать», лежебочествовалъ, слегка попивалъ, читалъ съ утра до поздней ночи и порой ругалъ всѣ силы, господствія, начальства и власти.

Но Катерину Астафьевну это сокрушало, и сокрушало гдѣ одноть отношеніи. Она боялась *за душу* Форова и всегда лепѣяла завѣтную мечту «привести его къ Богу».

Эта мысль въ первый разъ сверкнула въ ея головѣ, когда принесенный въ госпиталь раненый майоръ принесъ въ себя и, поведя глазами, остановилъ ихъ на чепцѣ Катерины Астафьевны и запиевелилъ губами.

— Что вамъ: вѣрно желасте батюшку позвать?—участливо спросила она раненаго.

— Совсемъ нѣть; а я хочу выплюнуть, — отвѣчалъ Форовъ, отдѣля опухшімъ языкомъ отъ поднебесья сгустокъ запекшейся крови.

— Вы не вѣруете въ Бога? — грустно вопросила религіозная Катерина Астафьевна.

Майоръ качнулъ утвердительно головой.

— Ахъ, это ужасное несчастіе!

И съ тѣхъ поръ она начала нѣжно за нимъ ухаживать и положила въ сердцѣ своеемъ надежду «привести его къ Богу»; но это ей никогда не удавалось и не удалось до спихъ поръ.

Во все время службы майора въ полку она не безъ труда достигла только одного, чтобы майоръ не гасилъ на ночь лампады, которую она, на свои трудовыя деньги, теплила предъ образомъ, а днемъ не закуривалъ отъ этой лампады своихъ растрепанныхъ толстыхъ папироſъ; но удержать его отъ богохульныхъ выходокъ въ разговорахъ она не могла, и радовалась лишь тому, что онъ подобныхъ выходокъ не дозволялъ себѣ при солдатахъ, при которыхъ даже и крестился, и цѣловалъ крестъ. По удаленіи же въ свой городокъ, подруга майора, возобновивъ дружескія связи съ Синтизиної, открыла ей свои заботы насчетъ обращенія Форова и была нескончанно рада, замѣчая, что Филетеръ Ивановичъ, что называется, полюбиль генеральшу.

— Иправится она тебѣ, моя Сашурочка-то? — говорила Катерина Астафьевна, заглядывая въ глаза майору.

— Прекрасная женщина, — отвѣчалъ Форовъ.

— А вѣдь чтѣе дѣлаетъ такою прекрасною женщиной?

— Что? Я не знаю что: такъ, хорошая зародилась.

— Нѣть; она христіанка.

— Ну да, разсказывай! Будто нѣть богомольныхъ подлесовъ, точно такъ же, какъ и подлецовъ не молящихся?

И майоръ отходилъ отъ жены съ явнымъ нежеланіемъ продолжать подобные разговоры.

Затѣмъ онъ сошелся у той же Синтизиної съ отцомъ Евангеломъ и заспорилъ-было на свои любимыя темы о несообразности вещественнаго поста, о словесной молитвѣ, о священствѣ, которое онъ называлъ «сословіемъ духовныхъ адвокатовъ»; но начитанный и либеральный Евангель шутя окопфузилъ майора и шутя успокоилъ его словами, что «не

ядый о Господѣ не єсть, ибо лишаетъ себя для Бога, и ядый о Господѣ єсть, ибо вкушай хвалитъ Бога».

Форокъ сказалъ:

— Если такъ, то не о чёмъ спорить. Впрочемъ, я въ этомъ и не знатокъ.

— А въ чёмъ же вы по этой части великий знатокъ?

— Въ чёмъ? Въ томъ, что ясно разумомъ постигаю моимъ.

— Напримѣрь-сь?

— Напримѣрь, я постигаю, что никакой всемогущій онецкунъ въ дѣла здѣшняго міра не мѣшается.

— Такъ-сь. Это вы разумомъ постигли?

— Да, разумѣется, потому что иначе развѣ могли бы быть такія несправедливости, видя которыхъ у всякаго маломальски честнаго человѣка всѣ кишкы въ брюхѣ отъ негодованія вертятся.

— А мы можемъ ли постигать, чтѣ справедливо и чтѣ несправедливо?

— Вотъ тебѣ на еще! Конечно, можемъ, потому что мы фактъ видимъ.

— А фактъ-то иногда совсѣмъ не то выражаетъ, что онъ значить.

— Темно.

— А вотъ я вѣсъ сейчасъ въ этомъ просвѣщу, если угодно.

— Сдѣлайте милость.

— Извольте-сь. Положимъ, что есть на свѣтѣ мать, добруя, предобрая женщина, которая мухи не обидитъ. Допускаете вы, что можетъ быть на свѣтѣ такая женщина?

— Ну-сь; допускаю: вотъ моя Торочка такая.

— Ну-сь, прекрасно! Теперь допустимъ, что у Катерины Астафьевны есть дитя.

— Не могу этого допустить, потому что она уже не въ такихъ лѣтахъ, чтобы дѣтей имѣть.

— Ну, все равно: допустимъ это какъ предположеніе.

— Зачѣмъ же допускать нелѣпья предположенія.

Евангель улыбнулся и сказалъ:

— Вы мелочнай человѣкъ: вѣсъ занимаетъ процессъ спора, а не искомое; по все равно-сь. Извольте, ну нѣтъ у нея ребенка, такъ у нея есть вотъ собака Драдедамъ, а этотъ Драдедамъ пользуется ся вниманіемъ, котораго онъ почему-нибудь заслуживаетъ.

— Допускаю.

— Теперь-съ, если бъ этотъ Драдедамъ былъ боленъ и ему нужно было дать мяса, а купить его негдѣ.

— Ну-съ?

— Вотъ Катерина Астафьевна береть ножикъ и рѣжеть голову курицѣ и варить изъ нея Драдедаму похлѣбку: справедливо это или нѣтъ?

— Справедливо, потому что Драдедамъ благороднѣйшее созданіе.

— Такъ-съ; а курица, которой отрѣзали голову, непремѣнно думала, что съ нею поступали ужасно несправедливо.

— Что же вы этимъ доказали?

— То, что фактъ жестокости тутъ есть: курица убита,— это для нея жестоко и съ ея куриной точки зрѣнія несправедливо, а между тѣмъ вы сами, существо гораздо высшее и умнѣйшее курицы, нашли все это справедливымъ.

— Гмъ!

— Да такъ-съ. Есть будто фактъ жестокосердія, но и его нѣтъ.

— Ну, ужъ этого совсѣмъ не понимаю и оно есть, и его нѣтъ.

— Да нѣтъ-съ ея, жестокости, нѣтъ, ибо Катерина Астафьевна остается столь же доброю послѣ накормленія курицей Драдедама, какъ была до сего случая и во время сего случая. Вотъ вамъ—есть фактъ жестокости и несправедливости, а онъ вовсе не значить того, чѣмъ кажется. Теперь возражайте!

— Я не хочу вамъ возражать,—отвѣчалъ, подумавъ, Форовъ.

— А почему, спрошу?

— Почему?.. потому что я въ этомъ не силенъ, а вы много надѣя этими думали и имѣете начитанность и можете меня сбить, чего я отнюдь не желаю.

— Почему же вы не желаете придти къ какой-нибудь истинѣ и разубѣдиться въ заблужденіи?

— Такъ, не желаю, потому что не хочу забивать себѣ и безъ того темные памороки этой путаницей.

— Памороки не хотите забивать? Гмъ! Нѣтъ-съ, это не потому.

— А почему же?

Евангель снова улыбнулся и, сжавъ легонько руку майора немножко пониже локтя, ласково проговорилъ:

— Вы потому не хотите обѣ этомъ говорить и думать какъ слѣдуетъ, что души вашей коснулось святое сомнѣніе въ справедливости рутины безвѣрія! И посмотрите зато сюда!

Съ этимъ отецъ Евангель, подвинувъ слегка майора къ себѣ, показалъ ему черезъ дверь другой комнаты, какъ Катерина Астафьевна, слышавшая весь разговоръ, вдругъ упала на колѣни и, протянувъ руки къ освященному лампадой образнику, плакала радостными и благодарными слезами.

— Эти слезы съ неба,—шепнулъ Евангель.

— Бабье, ото всего плачутъ,—сухо отвѣчалъ, отворачиваясь, майоръ.

Но веселый Евангель вдругъ смущился и, взявъ майора за руку, тѣмъ же добродушнымъ тономъ проговорилъ:

— Бабье-съ? Вы сказали бабье?.. Это недостойно вашей образованности... Женщины—это прелестъ! Онѣ наши муроносицы: безъ ихъ слезъ этотъ злой міръ заскорузъ бы-съ!

— Вы діалектикъ.

— Да-съ: я діалектикъ; а вы баба, ибо боитесь свободомыслія и бѣжите чистаго чувства, женской слезой пробужденнаго. Что-съ? Ха-ха-ха... Да вы ничего, не робѣйте: это вѣдь проходитъ!

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Еще о нихъ же.

На другой день послѣ этой бесѣды, происходившей задолго предъ тѣми событиями, съ которыхъ мы начали свое повѣствованіе, майоръ Форовъ, часу въ десятомъ утра, пришелъ пѣшикомъ къ отцу Евангелю и сказалъ, что онъ ему очень понравился.

— Неужели?—отвѣчалъ веселый священникъ. — Что жъ, это прекрасно: это значитъ, мы честные люди, да!.. а жены у насъ съ вами еще лучше насы самихъ. Я вамъ вотъ сейчасъ и покажу мою жену: она гораздо лучше меня. Паинька! Паинька! — закричалъ отецъ Евангель, удерживая за руку майора и засматривая въ дверь сосѣдняго покоя.

— Чего тебѣ нужно, Паинька?—послышался оттуда звонкий, симпатический, молодой голосъ.

— «Паинька», это она меня такъ зоветъ,—объяснилъ майору Евангель.—Мы привыкли другъ на друга все «ты паинька» да «ты паинька», да такъ ужъ свои имена совсѣмъ и позабыли... Да иди же сюда, Паинька!—возвысилъ онъ нѣсколько нетерпѣливо свой голосъ.

Въ дверяхъ показалась небольшая и довольно худенькая, нѣсколько нестройно сложенная молодая женщина, съ очень добрыми большими коричневыми глазами и тонененькими кокочками темныхъ волосъ на вискахъ.

Она была одѣта въ свѣтлое ситцевое платье и держала въ одной рукѣ полоскательную фарфоровую чашку съ обвареннымъ миндалемъ, который обчищала другою, свободною рукой.

— Ну, что ты здѣсь, Паинька? Какой ты беспокойный, что отрываешь меня безъ толку?—заговорила она, ласково глядя на мужа и майора.

— Какъ безъ толку, когда гость пришелъ.

— Ну, такъ что же—гость пришелъ? Они къ намъ часто будуть ходить.

— Превосходно сказано,—воскликнулъ Форовъ.—Буду-сь.

— Да; она у меня преумная, эта Пайка,—молвилъ, слегка обнимая жену, Евангель.

— Ну, вотъ ужъ и умная! Вы ему не вѣрьте: я въ лѣсу выросла, верѣхъ молилась и плюю поклонялась,—такъ откуда я умная буду?

— Нѣть; вы ей не вѣрьте: она преумная,—увѣрялъ, смѣясь и тряся майора за руку, Евангель.—Она вдругъ иногда, знаете, такое скажетъ, что только ротъ разинешь. А они, Паинька, въ Бога изволять не вѣровать,—обратился онъ, указывая женѣ на майора.

— Ну, такъ что же такое: они послѣ повѣрятъ.

— Видите, какъ разсуждается!

— Да что-жъ ты надо мной смѣешься? Разумѣется, что не совсѣмъ въ одно время вѣритъ. Вѣдь они добрые?

— Ну, такъ что же что добрый? А какъ онъ въ царствѣ небесномъ будетъ? Его не пустятъ.

— Нѣть, пустятъ.

— Извольте вы съ ней спорить!—разсмѣялся Евангель.—

Я тебѣ, Пайка, говорю: его къ вѣрюющимъ не пустятъ; тебѣ, попадѣѣ, нельзя этого не знать.

— Ну, его къ невѣрюющимъ пустятъ.

— Видите, видите, какая бѣдовая моя Пайка! У-у-у-хъ, съ ядовитостью женщина! — продолжалъ оғь, тихонько съ нѣжностью и восторгомъ трогая жену за ея свѣжий раздвоившійся подбородокъ, и въ то же время, оборотясь къ майору, добавилъ: — Ужасно хитрая-сь! Ужасно! Одинъ я ее только постигаю, а вы о ней если сдѣлаете заключеніе по этому первому свиданію, такъ непремѣнно ошибетесь.

— Да я ихъ совсѣмъ и не въ первый разъ вижу,—предѣлила его попадья, перемывая въ той же полоскательной чашкѣ свой миндаль.—И ихъ уже видѣла на Висленевскомъ дворѣ, и мы кланялись.

— Не помню-сь,—отвѣчалъ майоръ, съ любовью артиста разглядывая это прекрасное твореніе, какъ разъ подходящее, по его мнѣнію, къ типу наипочтеннѣйшихъ женщинъ на свѣтѣ.

— Какъ же не помните,—толковала попадья: — вы еще шли съ супругой... или кто она вамъ доводится, Катерина-то Астафьевна?.. Да! вы шли по двору, а мы съ генеральшей Александрой Ивановной сидѣли подъ окномъ, виши чистили и вамъ кланялись.

— Не помню-сь.

— Какъ же-сь, а я помню: вы вотъ теперь въ штанахъ, а тогда были въ подштанахъ.

— Какъ въ подштанахъ-сь?—изумился майоръ.

— Такъ, въ эстакихъ въ бѣлыхъ, со штрифами.

Майоръ засмѣялся, а отецъ Евангель, хохота и ударяя себя ладонями по колѣнямъ, восклицалъ:

— Ахъ, Панинька! Панинька! проговорились вы, прелестъ моя, проговорились!

Попадья слегка вспыхнула и хотѣла возражать мужу, но какъ тотъ махалъ на нее руками и кричалъ: «т-сь, т-сь, т-сь! молчи, Пайка, молчи, а то хуже скажешь», то она быстро выбѣжала вонъ и начала хлопотать о закускѣ.

— Какая чудесная женщина!—сказалъ, глядя вслѣдъ ей, майоръ.

— То-есть превосходнѣйшая-сь, а не только чудесная,—согласился съ нимъ Евангель.— Видите, всѣхъ хочетъ въ

царство небесное помѣстить: мы будемъ въ своемъ царствѣ небесномъ, а вы въ своемъ.

Евангель расхохотался.

— Вы давно женаты?—спросилъ майоръ.

— Семь лѣтъ женатъ, да-съ, семь лѣтъ, но въ томъ числѣ она три года была въ гусара влюблена, а однако еще я всякий день въ ней открываю новые достоинства.

— Гмъ!.. а въ гусара-таки была влюблена?

— Ужасно-съ! Какихъ это ей, бѣдненькой, мукъ стдило, если бы вы знали? Я ей студентомъ нравился, а въ рясы разнравился, потому что онъ очень танцы любили, да! А тутъ гусары пришли, ну, шнурочки, усики, глазки... Она, бѣдняжка, однимъ и пѣнилась... Изсохла вся, до горловой чахотки чуть не дошла, и все у меня на груди плакала. «Зачѣмъ, бывало, говорить, Паинька, я не могу тебя любить, какъ я его люблю?»

— Ну, а вы же что?

— Стыдно сказать, право.

— Однакоже?

— Да что-съ? сижу, бывало, гляжу ее по головкѣ, да и реву вмѣсть съ нею. И даже, что-съ? — продолжалъ онъ, понизивъ голосъ и отводя майора къ окну: — Я уже разъ совсѣмъ порѣшилъ: уди, говорю, коли со мной такъ жить тяжело, но она, услыхавъ отъ меня объ этомъ, разрыдалась и вдругъ улыбается: «Нѣтъ, говорить,—Паинька, я никуда не хочу: я послѣ этого теперь опять тебя больше люблю». Она влюбчива, да-съ. Это одинъ, одинъ ея порокъ: восторженна и въ восторгѣ сейчасъ влюблется.

— Однакоже, чортъ возьми, позвольте мнѣ вать уважать!—закричалъ зычно майоръ.

— Нѣтъ-съ; это ее надо за это уважать: скудельный со- судь, а совладала съ собою, и все для меня!.. А вотъ и она, Паинька; а что же, душка, водочки-то?—вопросилъ онъ входящую жену, увидѣвъ, что на подносѣ, который она несла, не было ни графина, ни рюмки.

— А кто же станетъ водку пить?

— А вотъ они, Филетеръ Ивановичъ.

— Вы пьете развѣ? — отнеслась попадя къ майору, и получивъ отъ него короткій, но утвердительный отвѣтъ, принесла графинъ и рюмку и, поставивъ ихъ на столъ, сказала:—Не хорошо кто пьеть вино.

— Отчего-сь? — спросилъ, принимаясь за рюмку, майоръ.
— Такъ... мысли дурные отъ вина приходятъ.
— Ну, мнѣ не приходятъ.
— Какъ не приходить; а вонъ вы почему же до сихъ поръ не женитесь?

Майоръ пересталъ закусывать и съ удивленiemъ смотрѣть на сидѣвшую у стола съ подпертымъ на руку подбородочкомъ попадью; но ту это нимало не смутило, и она спокойно продолжала:

— Что вы на меня такъ смотрите-то? Развѣ же это хорошо такъ женщину конфузить?

— Послушайте, моя милая! — ласково заговорилъ съ ней майоръ, но она его тотчасъ же перебила.

— Ничего, ничего, «моя милая»! — передразнила его попадья: — не знаю я, что-ль? А мнѣ вашей Катерины Астафьевны жалко, — вотъ вамъ и сказъ, и я насчетъ васъ своему Паиньку давно сказала, что вы недобрый и жестокий человѣкъ.

— Вотъ тебѣ и разъ! Да позвольте же-сь: я вѣдь Катерину Астафьевну все равно люблю-сь.

— Да-а! Нѣтъ, это не все равно: если вы такъ, не обвѣничавшись, прежде ея умрете, она не будетъ за васъ пенсіона получать.

Попадья говорила все это съ самымъ серьезнымъ и со средоточеннымъ видомъ и съ глубочайшею заботливостью о Катеринѣ Астафьевнѣ. Ее не развлекалъ ни веселый смѣхъ мужа, наблюдавшаго траги-комическое положеніе Форова, ни удивленіе самого майора, который былъ пораженъ простотой и оригинальностью приведенного ею довода въ пользу брака, и наконецъ, обтеревъ салфеткой усы и подойдя къ попадѣ, попросилъ у нея ручку.

— Зачѣмъ же это? — спросила она.
— Я женюсь и вѣсть матерью посаженою пропу.
— Непремѣнно?
— Всенепремѣнно и какъ можно скорѣе; а то, дѣйствительно, пенсіонъ можетъ пропасть.

— Ну, за это вы умникъ, и я не жалѣю, что мы познакомились, — отвѣчала ему весело попадью, съ радостью подавая свою руку.

— А я такъ буду сожалѣть объ этомъ, — отвѣчалъ, громко чмокнувъ ея ручонку, Форовъ. — Теперь мнѣ въ

первый разъ завидно, что у другого человѣка будетъ жена лучше моей.

- О, не завидуйте, не завидуйте, ваша добрѣе.
- Почему же вы это знаете?
- Да, вѣдь, она вѣсъ цѣлуетъ? Ужъ навѣрно цѣлуетъ?
- Случается; рѣдко, но случается.
- Ну, вотъ видите! А ужъ я бы не поцѣловала.
- Это почему?
- Потому что отъ вѣсъ водкой пахнетъ.
- Покорно вѣсъ благодарю-сь, — отвѣчалъ, комически поклоняясь и шаркнувъ ногой, маѣръ, и затѣмъ еще разъ поцѣловалъ на прощанье руку у попады и откланился.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Свадьба Форовыхъ.

У калитки, до которой Евангель провожалъ Форова, маѣръ на минутку остановился и сказалъ:

- Да какъ же-сь это... того...
- Вы насчетъ свадьбы?
- Да.
- Что-жъ, приходите, я перевѣнчу и денегъ за вѣнецъ не возьму. Приходите вечеркомъ въ воскресенье чай пить: я на сихъ дняхъ огласку сдѣлаю, а въ воскресенье и перевѣнчаемся.
- А не очень это скоро?
- Нѣть; чѣмъ же скоро? чѣмъ скорѣе, тѣмъ оно вѣрнѣе, а то вѣдь Панинка правду говоритъ: знаете, вдругъ кран-кенъ, а женщина останется ни при чѣмъ.
- Хорошо-сь; я приду въ воскресенье вѣнчаться. А жена у васъ, чортъ возьми, все-таки удивительная!
- Да вѣдь я и говорилъ, что вы на нее будете удивляться и не поймете ее. Я все время за вами наблюдалъ, какъ вы съ нею говорили, и думалъ: «ахъ, какъ бы этотъ ея не понять!» Но нѣть, вижу, и вы не поняли.
- Почему же вы это такъ думаете? А можетъ быть я ее и понялъ?
- Нѣть; гдѣ вамъ ее понять! Ее одинъ я понимаю. Ну, говорите: кто такая она по-вашему, если вы ее поняли?
- Она?.. она... положительная и самая реальная натура. Евангель, что называется, закисъ со смѣху.

— Чего же вы помирасте? — спросилъ майоръ.

— А того, что она совсѣмъ не положительная и не реальная натура. А она... позвольте-ка мнѣ взять васъ за ухо.

И Евангель, принағнувъ къ себѣ слегка голову майора, прошепталъ ему на ухо:

— Моя жена дурочка.

— То-есть вы думаете, что она не умна?

— Она совершенная дурочка.

— А чѣмъ же она разсуждается?

— А вотъ этимъ вотъ! — воскликнулъ Евангель, тронувъ майора за ту часть груди, где сердце. — Какъ же вы этого не замѣтили, что она, где хочетъ быть умною дамой, сей-часъ глупость скажетъ, — какъ о вашихъ бѣлыхъ панталонахъ вышло; а где по естественному своему чувству говорить, такъ что твой министръ юстиціи. Вы ея, пожалуйста, не ослушайтесь, потому что я вамъ это по опыту говорю, что ужъ она какъ разсудить, такъ это непремѣнно такъ надо сдѣлать.

Майоръ посмотрѣлъ на священника, и видя, что тотъ говоритъ съ нимъ совершенно серьезно, провелъ себя руками по груди и громко плюнулъ въ сторону.

— Ага! вотъ значить видите, что промахнулись! Ну, ничего, ничего: въ самомъ дѣлѣ не все сразу. Приходите-ка прежде вѣнчаться.

Майоръ еще разъ повторилъ обѣщаніе прійти, и дѣйствительно пришелъ въ назначенный вечеръ къ Евангелю вмѣстѣ съ Катериной Астафьевной, которой майоръ ничего не рассказалъ о своихъ намѣреніяхъ, и потому она была только удивлена, увидя, что невѣруюciй Филестерь Иванычъ, при звонѣ къ вечернѣ, прошелъ вмѣстѣ съ Евангеломъ въ церковь и сталъ въ алтарѣ. Но когда окончилась вечерня и среди церкви поставили аналой, зажгли предъ нимъ свѣчи и вынесли вѣнцы, сердце бѣдной женщины скжалось отъ невѣдомаго страха, и она, оборотясь къ Евангеловой попадѣ и къ стоявшимъ съ нею Синтианиной и Ларисѣ, залепетала:

— Дружочки мои, а кто же здѣсь невѣста?

— Вѣрно ты, — отвѣтала ей Синтиания.

Катерина Астафьевна потерянико зашипала свою верхнюю губу, что у нея было знакомъ высшаго волненія, и страшно испугалась, когда майоръ взялъ ее молча за руку

и повель къ аналою, у которого уже стоялъ облаченій въ ризу Евангель и возглашалъ:

— Благословенъ Богъ нашъ всегда, нынѣ и присно.

Во все время вѣничального обряда Катерина Астафьевна жарко молилась и плакала, обтирая слезы рукавомъ своего понощенного, кущаго коричневаго шерстянаго платя, межъ тѣмъ какъ гравенниковая свѣча въ другой ея рукѣ выбивала дробь и поджигала скрещенную на ея груди темную шелковую косынку.

Обрядъ былъ конченъ, и Евангель первый поздравилъ майора и Катерину Астафьевну мужемъ и женой.

Затѣмъ ихъ поздравили и остальные друзья, а потомъ всѣ или у Евангела чай, ходили съ нимъ на его просо и наконецъ вернулись къ скромному ужину и тутъ только хватились: гдѣ же майорша?

Исчезновеніе ея удивило всѣхъ, и всѣ бросились отыскывать ее, кто куда вздумалъ. Искали ее и на кухнѣ, и въ сѣняхъ, и въ саду, и на рубежахъ на полѣ, и даже въ темной церкви, гдѣ, думалось пѣкоторымъ, не осталась ли она незамѣтно для всѣхъ помолиться и не заперъ ли ее тамъ сторожъ? Но всѣ эти поиски были тщетны, и гости, и хозяева впали въ немалую тревогу.

А Катерина Астафьевна межъ тѣмъ сидѣла въ небольшой темной пасѣкѣ отца Евангела и, прислонясь спиной и затылкомъ къ пчелиному улью, въ которомъ изрѣдка раздавалось тихое жужжаніе пчель, глядѣла неподвижнымъ взглядомъ въ усѣянное звѣздами небо.

Въ такомъ положеніи отыскаль ее здѣсь майоръ и, назвавъ ее по имени, укоряль за беспокойство, которое она надѣлала всѣмъ своею отлучкой.

Катерина Астафьевна, не перемѣняя положенія, только перевела на мужа глаза.

— Пойдемъ ужинать! — звалъ ее майоръ.

— Форовъ! — проговорила она тихо въ отвѣтъ ему: — скажи мнѣ правду: самъ ли ты это сдѣлалъ?

— Нѣть, не самъ.

— Я такъ и думала.

— Да; это попадья меня принудила.

— Не самъ... попадья принудила, — повторила за нимъ съ разстановкой жена, и съ этимъ вдругъ громко всхлипнула, нагнула лицо въ колѣни и заплакала.

— Что же, тебѣ это обидно, что ли? — освѣдомился майоръ.

— Конечно, обидно... очень обидно, Форовъ! — отвѣчала, качая головой, майорша. — Ты самъ въ семь лѣтъ нашей жизни никогда, никогда про меня не вспомнилъ.

— Да я никогда и не позабывалъ про тебя, Тора.

— Нѣть, забывалъ; всегда забывалъ. Вѣрою я скверналъ женщина: не умѣла я заслужить у тебя вниманія.

— Полно тебѣ, Торочка! Какого же еще больше вниманія, когда ты теперь моя жена!

— Нѣть, это все не то: это не ты сдѣлалъ, а Богъ такъ черезъ добрыхъ людей учинилъ, чтобы сократить число грѣховъ моихъ, а ты самъ... до сихъ поръ башмаковъ мнѣ не купилъ.

— Что за вздоръ такой? Какие тебѣ нужны башмаки? Развѣ не у тебя всѣ мои деньги? Я вѣдь въ нихъ отчета не спрашиваю: покупай на нихъ себѣ чтѣ хочешь.

— Нѣть, это все не то — «покупай», а ты долженъ помнить, когда у тебя въ Крыму въ госпиталѣ на ногѣ рожа была, я тебѣ изъ моего саквояжа болыше башмаки сшила.

— Ну, помню; что жъ далѣе?

— Ты сказалъ мнѣ тогда, что первый разъ какъ выйдешь, купишь мнѣ башмаки.

— Ну?

— Ну, и я вотъ семь лѣтъ этихъ башмаковъ прождала, когда ты ихъ принесешь, и ты ихъ мнѣ не принесъ.

— Э! полно, мать моя, глупости-то такія припомнинать! Вставай-ка, да пойдемъ ужинать.

И майоръ взялъ жену за руку и потянулъ ее, но она не поднималась: она продолжала сѣтовать, что ей до сихъ поръ не куплены и не принесены тѣ башмаки, обѣщаніе которыхъ напоминало пожилой Катеринѣ Астафьевнѣ тоже не совсѣмъ молодое и уже давно минувшее время, предшествовавшее безповоротному шагу въ любви ея къ майору.

Филетерь Ивановичъ, чтобы утѣшить жену, поцѣловалъ ее въ ея полусѣдую голову и сказалъ:

— Куплю, Тора! честное слово, куплю и принесу!

— Нѣть, я знаю, что не принесешь; ты обо мнѣ не можешь думать, какъ другіе о женщинахъ думаютъ... Да, ты не можешь; у тебя не такая натура, и это мнѣ больно

за тебя... потому что ты объ этомъ будешь горько и горько тужить.

— Ну, такъ что жъ, развестись, что ли, хочешь, если я такой подлый?

— Какъ развестись?

— Какъ? Развѣ ты забыла, что вѣдь мы обѣничались?

Катерина Астафьевна въ послѣднія минуты своего меланхолического настроенія дѣйствительно позабыла объ этомъ, и при теперешнемъ шуточномъ напоминаніи мужа о разводѣ сердце ея внезапно вскипѣло, и она, обхвативъ обѣими руками лохматую голову Форова, воскликнула, глядя на небо:

— Боже мой! Боже мой! за что же Ты послать мнѣ, грѣшной, такъ много такого хорошаго счастія?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Языкъ сердца.

Майорша плакала и тужила совсѣмъ не о тѣхъ башмакахъ, о которыхъ она говорила: и башмаки, и бракъ, и все прочее было съ ея стороны только придиркой, предлогомъ къ сѣтованію: душа же ея рвалась къ иному утѣшенію, о которомъ она до сегодняшняго вечера не думала и не заботилась. Зато эта беззаботность теперь показалась ей ужасною и страшною: она охватила все ея существо въ эти минуты ея уединенія и выражалась въ ней тѣми прихотливыми переходами и переливами разнообразныхъ чувствъ и ощущеній, какіе она проявляла въ своей бесѣдѣ съ мужемъ.

— Одного,— говорила она:— одного только теперь я бы желала, и радость моя была бы безмѣрна...— и на этомъ словѣ она остановилась.

— Чего же это?

— Нѣтъ, Форъ, ты этого не поймешь.

— Да попробуй, пожалуйста.

— Нѣтъ, мой Форъ, не зачѣмъ: этого говорить нельзя, если ты самъ не чувствуешь.

— Рѣшительно не чувствую и не знаю, чтѣ надо чувствовать,— отвѣчала майоръ.

— Ну, и прекрасно: ничего не надо. Встань съ травы, росно,— и вонъ всѣ сюда идутъ.

Съ этимъ майорша приподнялась и пошла навстрѣчу
шедшимъ къ ней Евангелу, его попадѣ, Синтианиой и
Ларисѣ.

Въ походкѣ, которою майорша приближалась къ пришед-
шимъ, легко можно было замѣтить наплывъ новыхъ, овла-
дѣвшихъ ею волненій. Она тронулась тихо и шагомъ не-
спѣшнымъ, но потомъ пошла шибче и наконецъ побѣжала
и, схвативъ за руку попадью, остановилась, не зная, что
дѣлать далѣе.

Попадья поняла ее своимъ сердцемъ и заговорила:

— Это не я, душка, не я!

— Ну, такъ ты!—кинулась майорша къ Синтианиой.

— И не я, Катя,—отвѣчала генеральша.

— Ангелы небесные!—воскликнула майорша и, прижавъ
къ своимъ губамъ руки попади и Синтианиой, впилася
въ нихъ нервнымъ, прерывистымъ и страстнымъ поцѣ-
луемъ, который, вѣроятно, длился бы до нового истери-
ческаго припадка, если бъ отецъ Евангель не подсунулъ
шутя своей бороды къ лицамъ этихъ скученныхъ
женщинъ.

Увидавъ предъ собою эту мягкую свѣтлорусую бороду
и пару знакомыхъ веселыхъ голубыхъ глазъ, Катерина
Астафьевна выпустила руки обѣихъ женщинъ и, кинувшись
къ Евангелу, прошептала:

— Ахъ, батюшка... мнѣ такъ досадно: я хотѣла бы предъ
этимъ... исповѣдаться... но...

— Но отпускаются тебѣ всѣ грѣхи твои, чадо,—отвѣчалъ
добродушный Евангель, кладя ей на оба плеча свои руки,
которыя Катерина Астафьевна схватила такъ же внезапно,
какъ за минуту предъ симъ руки дамъ, и такъ же горячо
ихъ поцѣловала.

Потомъ они съ Евангеломъ поцѣловали другъ друга
и при этомъ перешепнулись: Форова сказала: «Батюшка,
простится ли мнѣ?» а Евангель отвѣтилъ: «И не помя-
нется-сь».

И съ этимъ онъ перехватилъ ея руку себѣ подъ руку,
а подъ другую взялъ генеральшу и, скомандовавъ: «разъ,
два и три!» пустился рѣзvымъ бѣгомъ къ дому, гдѣ на чи-
стомъ столѣ готовъ былъ скромный, даже почти бѣдный
ужинъ. Но было за этимъ ужиномъ шумно и весело и раз-
давались еще послѣ него оживленныя рѣчи, которымъ не

всѣ переговорились подъ кровлей Евангела до поздней ночи, и опять возобновились въ саду, гдѣ гости и провожавшій ихъ хозяинъ остановились на минуту полюбоваться тихимъ покоемъ деревьевъ, травъ и цветовъ, облитыхъ блѣдно-желтымъ свѣтомъ луны.

Тутъ, по знаку, данному Евангеломъ, всѣ въ молчаніи стали прислушиваться къ таинственнымъ звукамъ полуночи: то что-то хрустнетъ, то вздохнетъ, шепчетъ и таетъ, и тасть долго и чуть слышимо уху...

— Люблю эти звуки,—тихо молвилъ Евангель;—и ухожу часто сюда послушать ихъ; а на поляхъ и у лѣсовъ, на опушкахъ, они еще чище. Гдѣ дальше человѣческая злоба, тамъ этасть языкъ сейчасъ и звучнѣе.

Форову это дало случай возразить, что онъ этой сентиментальности не понимаетъ.

— А вотъ Гѣте понималъ, — замѣтилъ Евангель: — а Иоаннъ Дамаскинъ еще больше понималъ. Припомните-ка поэму Александра Толстого; Иоаннъ говорить: «Неодолимый ихъ призывъ меня влечетъ къ себѣ все болѣ... о, отпусти меня, калифъ, дозволь дышать и пить на волѣ». Вотъ что говорять эти звуки: они выманываютъ насть на волю ить изъ-подъ сараевъ.

— Наплевать на этакую волю, чтобы пить да дышать только: мнѣ больше нравятся звуки Марсельезы въ рабочихъ лицахъ Парижа,—отвѣчалъ Форовъ.

— Парижъ! городъ! — воскликнулъ съ кроткимъ предостереженіемъ Евангель. — Нѣть, нѣть, не ими освятится вода, не они раскуютъ мечи на орала! Первый городъ на землѣ сгородилъ Каинъ; онъ первый и брата убилъ. Замѣтьте, — создатель города есть и творецъ смерти: а Авель стадо пасть, и кроткіе наслѣдятъ землю. Нѣть, сестры и братья, множитесь, населяйте землю и садите въ нее сѣмена, а не башенъ стройте, ибо съ башенъ смѣщенье идетъ.

— А въ саду дьяволъ убѣдилъ человѣка не слушаться Бога,—перебилъ майоръ.

— Да; это въ Эдемскомъ саду; но зато въ Геѳсиманскомъ саду случилось другое: тамъ Богъ самъ себя предалъ страданьямъ. Впрочемъ, вы стойте на той степени развитія, на которой говорится «нѣсть Богъ», и жертвы этой понять

лишены. Спросимъ лучше дамъ. Кто съ майоромъ и кто за меня?

— Всѣ съ вами, — откликнулись попадья, генеральша и майорша.

Лариса вертѣла въ рукѣ одуванчикъ и молчала.

— Ну, а вы, барышня? — отнесся къ ней Евангель.

— Не знаю, — отвѣтала она, покачавъ головой, и, обдувъ пушокъ стебелька, бросила его въ траву и сказала: — Не пора ли намъ въ городъ?

Это напоминанье было не особенно пріятно для гостей, но всѣ стали прощаться съ сожалѣніемъ, что поздно, и что надо прощаться съ поэтическимъ попомъ.

Пылкая Катерина Астафьевна даже прямо сказала, что она съ радостью просидѣла бы тутъ до утра и всю жизнь прослушала бы Евангела, но попадья отвѣтила ей:

— А я его никогда не слушаю.

— Господи, какъ всѣ пары курьезно подтасовываются! — воскликнула, смѣясь и усаживаясь въ экипажъ, генеральша.

— Превосходно подтасовываются-съ, превосходно-съ, — отвѣчалъ ей Евангель. — Единомыслie недаромъ не даровано, да-съ! Тогда бы *стопъ* вся машина; тоска, скука и сонъ согласія, и заслуги миролюбія нѣтъ. Все кончено! Нѣтъ-съ, а вы тяготы другъ друга носите, такъ и исполните законъ Христовъ.

— А какъ же «возлюбимъ другъ друга»? — замѣтилъ майоръ.

— А такъ: прежде «возлюбимъ другъ друга» и тогда «единомыслiemъ исповѣмы», — отвѣчалъ ему Евангель, по-жимая руку майора и подставляя ему свою русую бороду.

— Да и уже тебя и люблю, — отвѣчалъ, обнимая его, майоръ.

И они попѣловались, и съ тѣхъ поръ, обмолвясь на «ты», сдѣлались тѣми неразрывнѣйшими друзьями, какими мы ихъ видѣли въ продолженіе всей нашей исторіи.

Эта дружба противомышленниковъ, соединившихся въ единомысліи любви, была величайшею радостью Катерины Астафьевны, видѣвшей въ этомъ новую прекрасную черту въ характерѣ своего мужа и залогъ того, что онъ когда-нибудь измѣнить свои сужденія.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Горшокъ сталкивается съ горшкомъ.

Супружеская жизнь Форовыхъ могла служить явнымъ опровержениемъ пословицы, выписанной надъ этою главой: у нихъ никогда не было разлада; они не только никогда другъ съ другомъ не ссорились, но даже не умѣли и дуться другъ на друга.

«Стдить ли это того, чтобы не ладить?»—говорила себѣ майорша при какихъ-нибудь несогласіяхъ съ мужемъ, и несогласія ихъ ладу не мѣшали.

«Наплевать!» думалъ себѣ майоръ, если не удавалось ему въ чёмъ-нибудь убѣдить жену, и тоже не находиль въ этомъ никакихъ поводовъ къ разладу.

Катерина Астафьевна помнила слова Евангела, что такъ даже и необходимо; да и въ самомъ дѣлѣ, не всѣ ли близкіе и милые ей люди несли тяготы другъ друга? Много начитанный, поэтический и глубоко проникавшій въ самую суть вещей, Евангель проводилъ свою жизнь съ доброю дурочкой и сдѣлалъ изъ нея Паиньку, отъ которой его, однако, потягивало въ поля, помечтать среди ночныхъ звуковъ; Форовъ смирился предъ лампадами Катерины Астафьевны и Ѳль ради нея цѣлые посты огурцы и картофель, а она... она любила Форова больше всего на свѣтѣ, отнюдь не считая его лучшимъ человѣкомъ и даже скорбя объ его заблужденіяхъ и слабостяхъ. Синтянина... но эта уже несла тяготу, съ которой не могла сравниться тягота всѣхъ прочихъ; всѣ онѣ жили съ добрыми людьми, которыхъ, вдобавокъ къ тому, любили, а та отдала себя человѣку, который былъ мстителенъ, коваренъ, холоденъ...

Глядя на Евангела, Катерина Астафьевна благословляла жизнь въ ея благѣ; сливаясь душой съ душой Синтяниной, она благоговѣла предъ могуществомъ воли, торжествующимъ въ святой силѣ терпѣнія, и чувствовала себя исполненной удивленія и радости о ихъ совершенствѣ, до котораго сама не мечтала достигнуть, не замѣчая, что иногда ихъ даже превосходить.

Жизнь ея была такъ полна, что она никуда не хотѣла заглядывать изъ этого мірка, гдѣ предъ нею стояли драгоценные сосуды ея вѣры, надежды и любви.

Но ейъ бытъ нуженъ и еще одинъ сосудъ, сосудъ, въ ко-

торый бы лился фіаль ея горести: этотъ сосудъ была безсодержательная Лариса.

Мы видѣли, какъ майорша хлопотала то устроить, то разстроить племянницу свадьбу съ Подозеровымъ и какъ ни то, ни другое ей не удавалось и шло какъ разъ противъ ея желаній. Когда свадьба эта была уже решена, Катерина Астафьевна подчинилась судьбѣ, и даже мало-помалу опять начала радоваться, что племянница устраивается и выходитъ замужъ за честнаго человѣка. Она даже рвалась помочь Ларисѣ въ ея свадебныхъ сборахъ и, смиряя свое кипучее сердце, переносила холодное устраненіе ея отъ этихъ хлопотъ; но того, что она увидѣла на свадебномъ пиру Ларисы, Катерина Астафьевна уже не могла перенесть. Никѣмъ не замѣченная, она ушла домой ни съ кѣмъ не простясь; сняла, разорвавъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, свое новое шерстяное платье и, легчи въ постель, послала кухарку за гофманскими каплями.

Такое поведеніе майорши удивило возвратившагося, черезъ часть послѣ ея прихода, мужа.

— Ночью посыпать женщину за пустыми каплями!.. какая глупость!—заговорилъ онъ, начиная разоблачаться.

Майорша какъ-будто этого только и ждала. Она вскочила и начала майору рацей о томъ, что для него жена не значить ничего, и онъ, можетъ-быть, даже быть бы радъ ея смерти.

— Нѣтъ; я только быль бы радъ, если бы ты немножечко замолчала,—отвѣчалъ спокойно майоръ.

— Никогда я теперь не замолчу.

— Ну, и очень глупо: ты будешь мѣшать мнѣ спать.

— А ты можешь спать?

— Отчего же мнѣ не спать?

— Ты можешь... ты можешь спать?

— Да, конечно могу! А ты почему не можешь?

— Потому, что я не могу спать отъ мысли, какое несчастіе несходная пара.

— Ну, вотъ еще!.. Наплевать.

И майоръ поставилъ на стулъ свѣчу, взялъ книгу и повалился на диванчикъ.

Майорша дергалась, вздыхала, майоръ читалъ и потомъ вдругъ дунулъ на свѣчу, повернулся къ стѣнѣ и заснулъ, но не надолго.

Услышавъ, что мужъ спитъ, Катерина Астафьевна спачала залпакала, и потомъ мало-по-малу разопилась и зарыдала истерически.

— Что, что, что такое съ тобой?—спрашиваль-спросонья майоръ.

Она все рыдала.

— Ну, на вотъ кашли,—проговорилъ онъ, вставъ и подавая женѣ принесенный изъ аптеки флакончикъ.

Катерина Астафьевна нетерпѣливо отодвинула его руку.

— И изъ-за чего? Изъ-за чего?—ворчалъ онъ.—Люди женились, да что намъ до этого? Не хорошо они будуть жить, опять-таки это не наше же дѣло. Но чтобы изъ-за этого не спать ночи...

По майорша вдругъ слова вскочила и, передразнивъ мужа, заговорила:

— «Не спать ночи! Не спать ночи!» Эка невидалъ какая, не спать ночь! Вамъ это ничто: подѣломъ вамъ, что вы не спите, а за что вы людямъ-то добрымъ дни и ночи испортили?

— Кто это мы?

— Всѣ вы, вотъ этакіе говоруны!.. Это все ты, съдой нигилистъ, да братецъ ея Іосаѳушка-дурачокъ, да его пріятели такъ Ларочку просвѣтили.

— Попъ Евангель же вѣдь ей другое благовѣствовалъ. Отчего же ты съ него за нее не взыскиваешь?

— Попъ Евангель! Нечего вамъ про попа Евангела. Вамъ до него далеко; а тутъ ни попъ, ни архіерей ничего не подѣлаются, когда на одного попа стало семь жидовинъ. Что отецъ добрый въ душу посадить, то лихой гость за одинъ разъ выдернеть.

— Ну, ты кончила?—вопросилъ, поворачиваясь въ своей постели, майоръ.

— Нѣть, не кончила. Вы десятки лѣтъ изъ двора въ дворъ ходите да вездѣ свое мерзкое сомнѣніе во всемъ разносите, а вамъ начињешъ говорить,—такъ сейчасъ въ минуту и кончи! Вѣрно, правда глазъ колеть.

— Я спать хочу.

— А я тебѣ, съдой нигилистъ, говорю, что ты не долженъ спать, что ты долженъ стать на колѣни, да плакать, да молиться, да говорить: отпусти, Боже, безуміе мое и положи храненіе моемъ устамъ!

— Ну, ужъ этого не будетъ.

— Нѣть будеть, будеть, если ты не загрубѣлая тварь, которой не касается человѣческое горе, будеть, когда ты увидишь, что у этой пары за жизнь пойдетъ, и вспомнишь, что во всемъ этомъ твой вкладъ есть. Да, твой, твой,— нечего головой мотать, потому что если бы не ты, она либо братцевымъ ходомъ пошла, и тогда намъ не было бы до нея дѣла; либо она была бы простая добрая мать и жена, и создала бы и себѣ, и людямъ счастіе, а теперь она что такое?

— Чортъ ее знаетъ что?

— Именно чортъ ее знаетъ что: всяка го сметъя по лопатѣ и отъ всѣхъ воротъ поворотъ; а отцы этому дѣлу вы, Да, да, нечего глаза-то на меня лунить; вы не сорванцы, не мерзанцы, а добрые болтуны, неряхи словесные! Вы хуже негодяевъ, вреднѣе, потому что тѣхъ какъ познаютъ, такъ въ три-штѣи вышпроводятъ, а васъ еще жалѣть будутъ.

— Кончила?

— Нѣть, да ты и не надѣйся, чтобъ я кончила.

— А, это другое дѣло!—сказали майоръ и, присѣвши на свой диванъ, началь обуваться.

— Что это: ты хочешь уйти?—вопросила его майорша.

— Да, больше ничего не остается.

— И уходи, батюшка,—не испугаешь; а чтѣ сказано, то свято.

— Ты сумасшедшная баба.

— Нѣть, я не сумасшедшная, а я знаю о чёмъ я со-
крушаюсь. Я скрушаюсь о томъ, что вѣсъ много, что во
всякомъ поганомъ городничѣ дома одного не осталось, куда
бы такой короткобрюхій сверчокъ, въ родѣ тебя, съ рацеями
не бѣгалъ, да не чиркаль бы изъ-за печки съ малыми дѣ-
тями!—напирала майорина на Филетера Ивановича, встав-
сь своего ложа.—Ну, куда ты собрался!—и майорина сама по-
дала мужу его фуражку, которую майоръ истерпѣливо вы-
рвалъ изъ ся руку и ушелъ, громко хлопнувъ дверью.

— А на дворѣ дождь,—сказала, возвратясь назадъ, кухарка, запиравшая за майоромъ калитку.

— Дождь? зимой дождь? Да, правда, весь день была от-
тепель и моросило.

Катерина Астафьевна присѣла и стала слушать, какъ

капли дождя тихо стучали по ставнямъ, точно гдѣ-то не-
вдалекъ просыпались.

Въ такомъ положеніи засталь ее и возвратившійся че-
резъ часъ, весь измокшій, майоръ.

Онъ вошелъ нѣсколько запыхавшись и, снявъ съ себя
мокре пальто и фуражку, прямо пристѣль на край жениной
постели и проговорилъ:

— Знаешь, Торочка, какія дѣла?

— Нѣть, Фоша, не знаю; но только говори скорѣй, Бога
ради, а то сердце не на мѣстѣ. Ты *тамъ* быть?

— Да, почти...

— Сними, дружокъ, скорѣе сапоги, а то они, небось,
мокры.

— Нѣть, ты слушай, что было. Я вышелъ злой и хотѣлъ
пройти вокругъ квартала, какъ вдругъ мнѣ навстрѣчу
сингянинскій кучеръ: пожалуйте, говоритъ, къ генералу,—
очень просятъ.

— Ну! что у нихъ?

— Ничего.

— Да что ты врешь: какъ ничего?

— Нѣть, ты слушай. Я былъ у Сингянина, и выхожу,
а дождь какъ изъ ведра, и вѣтеръ, и темь, и снѣгъ мокрый
вмѣстѣ съ дождемъ—словомъ халена, а не погода.

Бѣдный!

— Нѣть, ты слушай: не я самый бѣдный. Выхожу я на
улицу, а впереди меня идетъ человѣкъ... мужчина...

— Ну, мужчина?

— Да; въ пинели, высокій... идетъ тихо и вдругъ подо-
шелъ къ углу и этакъ «фю-фю-фю», посвисталъ. Я смотрю,
что это такое?.. А онъ еще прошелъ, да на другомъ углу
опять: «фю-фю-фю», да и на третьемъ такъ же, и на чет-
вертомъ. Кой, думаю себѣ, чортъ: кто это такой и чего ему
нужно? да за нимъ.

— Ахъ, Форовъ, зачѣмъ ты это?

— А что?

— Онъ могъ тебя убить.

— Ну, вотъ же не убиль, а только удивилъ и потѣшилъ.
Вижу я, что онъ вошелъ на висленевскій дворъ, и я за
нимъ, и хапъ его за полу: что, моль, вамъ здѣсь угодно?
А онъ... однимъ словомъ, узнаешь кто это былъ?

— Боюсь, что узнаю.

— Я боюсь, что ты узнала: это былъ Андрей Подозоровъ.

Катерина Астафьевна только рукой хлопнула по постели.

— Поняла?—спросилъ ее мужъ.

— Да, да, я все поняла, на свое мѣсто да безъ постѣднаго блуда.

— Я ему сказалъ, что если онъ не возьметъ ее отсюда и не уѣдетъ съ нею въ такое мѣсто, гдѣ бы она была съ нимъ одна и гдѣ бы онъ могъ ее перевоспитать...

Но майорша на этомъ словѣ зажала мужу ротъ и сказала:

— Замолчи, сдѣлай свое одолженіе: я не могу этого слушать. Какое перевоспитаніе? Когда мужу перевоспитывать? Это вздоръ, вздоръ, вздоръ! Хорошо перевоспитывать женъ князьямъ да графамъ, а не бѣднымъ людямъ, которымъ надо хребтомъ хлѣба кусокъ доставать.

— Да и уѣхать-то еще на горе нельзя!

— И слава Богу.

— Нѣтъ; бѣда!

— Да говори, пожалуйста, сразу!

— Синтианинъ получилъ изъ Питера важныя вѣсти. Очень важныя, очень важныя. Я всего не знаю, и того, что онъ мнѣ сообщилъ, сказать не могу, но вотъ тебѣ общее очертаніе дѣлъ: Синтианинъ не простилъ своегоувольненія.

— Я такъ и думала.

— Нѣтъ, не простилъ! Онъ какъ кротъ копался и, лежа долго на постели, прокопалъ удивительные ходы. Ты знаешь, кто ему ногу подставилъ, что онъ полетѣлъ? Это сдѣлалъ Гордановъ! Теперь понимаешь, какой гусь сей мерзавецъ Гордановъ? Но они ужъ очень заручились и зазнались: Бодростина изъ Парижа въ Петербургъ святою пріѣхала: Даніила пророка вызываетъ къ себѣ, мужъ ея чуть въ Сибирь не угодилъ, и въ этой святой да въ Гордановѣ своихъ спасителей видить, а Гордановъ... Да онъ тоже слишкомъ уже полагается на свое, такъ сказать, сверхъестественное положеніе... Синтианина не надуешь; онъ все пронюхалъ и онъ правъ: они не могли все это даромъ дѣлать, ио любви къ искусству, нѣть; ихъ манить преступление, большое, странное и выгодное...

— Да говори, Форочка, говори: вѣдь я не болтуны.

— Синтианинъ думаетъ..., что они хотятъ извести Бодростина и...

— И что еще?
— И не своими руками, а...
— Шепни, дружокъ, шепни.
— Тутъ Іосафъ и Лариса должны быть на смытѣ.
— Іосафъ и Лариса!.. и Лара!
— Ну, такъ ошь говорить.
— О! онъ старый воробей: его не обманешь; но если Гордановъ то, чтò ты сказалъ, такъ они все совершасть, и его не уловишь.

— Гордановъ то самое, что я сказалъ. Но ждать не долго. Бодростина, Бодростинъ, Гордановъ и дурачокъ Іосафъ всѣ завтра будуть сюда, и мы посмотримъ, кто кого: мы ихъ, или они насъ?

— Да ты что же, Форовъ?.. Неужто ты съ Синтианинымъ вмѣстѣ?

— Фуй!.. Богъ меня оборони!—И майоръ перекрестился и добавилъ:—Нѣть, тенерь нѣть союзовъ, а всѣ на но-жахъ!

Но Катерина Астафьевна не слыхала этихъ послѣднихъ словъ. Она только видѣла, что ея мужъ перекрестился и, погруженная въ свои мысли, не сдала всю ночь, ожидала утра, когда можно будетъ идти въ церковь и потомъ на смертный бой съ Ларисой.

Оглавление

XXV ТОМА.

НА НОЖАХЪ.

Романъ въ 6 частяхъ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Кровь.

	ст. ^{р.}
VII. Краси ють стѣны	5
VIII. Не краси ющіе	11
IX. Подъ крыломъ у темной ночи	18
X. Послѣ скобеля топоромъ	24
XI. Крестъ	33
XII. Лариса не узнаетъ себя	37
XIII. Въ ожиданіи худшаго	39
XIV. Въ ожиданіи смерти	43
XV. Секреть	47
XVI. Ходить сонъ и дрема говорить	60
XVII. Черный день	63
XVIII. Форовъ дѣлается Макаромъ, на котораго сыплются шишки.	66
XIX. Нѣсколько строкъ для объясненія дѣла	71

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Мертвый узелъ.

I. Такъ и такъ	76
II. Гдѣ обрѣтается Форовъ	78
III. Каково поживають другіе.	80
IV. Кошка и мышка	83
V. Nota bene на всікій случай	85

	стр.
VII. Итогъ для новой смыты	87
VIII. Черная немочь	90
VIII. Нѣмая исповѣдь	95
IX. Безъ покаянія	97
X. Съ толку сбила	99
XI. Брильянтъ и янтарь	104
XII. Указъ объ отставкѣ	107
XIII. Собака и ея тѣнь	110
XIV. Раненаго берутъ въ пленъ	116
XV. Роза изъ сугроба.	121
XVI. На курьерскихъ	127
XVII. Еще шибче	131
XVIII. Майоръ и Катерина Астафьевна	137
XIX. О тѣхъ же самыхъ	143
XX. Еще о нихъ же	147
XXI. Свадьба Форовыхъ.	152
XXII. Языкъ сердца	156
XXIII. Горшокъ сталкивается съ горшкомъ	160

F

24.124/25-27